



А. Н. ЯКОВЛЕВ

Сумерки

<Фрагменты>

Сегодня-то можно смеяться над нашей наивностью, судить и рядить, поучать нас задним числом и поражаться нашей неумелости. Но, скажите на милость, где те пробирки или теплицы, в которых выращивают «подлинных реформаторов», все знающих и все умеющих, безошибочно прорицательных, и в то же время в какой еще стране мира практически произошел ненасильственный поворот от тысячелетнего самодержавия к свободе? Да и нас, реформаторов, система готовила к верной службе советскому социализму, а вовсе не к его ниспровержению. Вот почему новые дороги мы пытались вначале проложить по вязкому болоту социалистических иллюзий, которые принимали за твердый грунт...

Много различных сказок сложено о том, как Михаил Горбачев избирался на пост Генерального секретаря. Называют имена претендентов, которые якобы фигурировали на Политбюро, например, Виктора Гришина, Григория Романова и других. Я расскажу только то, что знаю, как один из участников этого незаурядного момента истории.

Начну с того, что на заседании Политбюро, определявшего нового лидера, не было никакой разногласия, хотя ближайшее окружение усопшего Черненко уже готовило речи и политическую программу для другого человека — Виктора Гришина. Однако жизнь потекла по другому руслу. Кандидатуру Горбачева на Политбюро, а потом и на Пленуме 11 марта предложил Андрей Громыко. На заседании ПБ его тут же поддержал Гришин — он понял, что вопрос предрешен. Выступили все члены и кандидаты в члены Политбюро — и все за Горбачева.

Позднее в своих воспоминаниях Егор Лигачев выразил удивление, что первым предложение о Горбачеве внес Громыко. Он, Лигачев, этого не ожидал. Для меня тут ничего неожиданного

не было. Почему? Дело в том, что в те смутные дни ко мне в ИМЭ-МО¹, где я был директором, приехал Евгений Примаков и, сославшись на просьбу Анатолия Громыко² — сына старшего Громыко, спросил, нельзя ли провести зондажные, ни к чему пока не обязывающие переговоры между Громыко и Горбачевым. «Роль посредника, как просит Андрей Андреевич, падает на тебя», — сказал Евгений Максимович. Видимо, потому, что у меня были хорошие отношения с обоими фигурантами. Я, разумеется, никак не мог отреагировать на эту идею без разговора с Горбачевым. Поехал на Старую площадь, где размещался ЦК КПСС. Горбачев после некоторых раздумий попросил продолжить переговоры, по крайней мере, не уклоняться от них, попытаться внести в них конкретное содержание, то есть выяснить, что за этим стоит конкретно.

Вернувшись в институт, тут же позвонил Анатолию Громыко. Он немедленно приехал ко мне. Сказал ему, что Горбачев отнесся к размышлениям на этот счет с вниманием. Но хотелось бы уточнить (здесь я говорил как бы от себя), что реально скрывается за этим моментом истории.

— Ни вам, Анатолий Андреевич, ни мне не хотелось бы окатиться закулисными придурками.

— Александр Николаевич, — сказал младший Громыко, — чтобы не наводить тень на плетень, я изложу то, что сам думаю по этому поводу. Если это покажется неприемлемым, то будем считать, что я говорил только от своего имени. Мой отец уверен, что возглавить партию в сложившихся условиях может только Горбачев. Он, Громыко, готов поддержать эту идею и сыграть инициативную роль на предстоящем заседании Политбюро. В то же время отцу надоело работать в МИДе, он хотел бы сменить обстановку. Речь идет о Верховном Совете СССР.

Я опять поехал в ЦК. Михаил Сергеевич долго ходил по кабинету, обдумывая, видимо, варианты ответа. Он задавал мне какие-то вопросы и тут же сам отвечал на них. Вел дискуссию с самим собой. Ясно было, что ему нравится это предложение. Оно шло от лидера оставшейся группы «стариков». Горбачев понял, что «старая гвардия» готова с ним работать, отдать свою судьбу в его руки. Это было главное. После двух неудач с большими старцами — с Андроповым и Черненко — надо было уходить от принципа иерархической наследственности.

Наконец Михаил Сергеевич сказал: «Передай, что мне всегда было приятно работать с Андреем Андреевичем. С удовольствием буду это делать и дальше, независимо от того, в каком качестве оба окажемся. Добавь также, что я умею выполнять свои обещания».

Ответ был осторожным, но ясным.

Анатолий Громыко, получив от меня это устное послание, отправился к отцу, а через некоторое время позвонил мне и сказал:

— Все в порядке. Все понятно правильно. Как вы думаете, не пора ли им встретиться с глазу на глаз?

— Пожалуй, — ответил я.

Мне известно, что такая встреча состоялась. Судя по дальнейшим событиям, они обо всем договорились. В часы заседания Политбюро, на котором решалась проблема будущего руководителя партии и страны, Крючков пригласил меня к себе, сославшись на то, что в приемной Политбюро у него «свой» человек, и мы, таким образом, будем в курсе всего происходящего. Острота момента и мое любопытство победили осторожность. Пристраиваясь к обстановке, Крючков навязчиво твердил мне, что Генсеком должен стать Горбачев. Он не был в курсе моих «челночных» операций: Громыко — Горбачев. Итак, мы потягивали виски, пили кофе и время от времени получали информацию из приемной Политбюро. Первая весточка была ободряющей: все идет нормально. А это означало, что предложена кандидатура Горбачева. И когда пришло сообщение от агента Крючкова, что Горбачева единогласно возвели на высокий партийный трон, Крючков воодушевился, поскольку именно с этим событием он связывал свою будущую карьеру. Облегченно вздохнули, поздравили друг друга, выпили за здоровье нового Генсека. Крючков снова затеял разговор по внутренним проблемам КГБ. Он «плел лапти» в том плане, что Горбачеву нужна твердая опора, которую он может найти прежде всего в КГБ. Но при условии, что будут проведены серьезные кадровые изменения. Необходимо продолжить десталинизацию общества и государства, чего не в состоянии сделать старые руководители госбезопасности. Замечу, что все это происходило до того, как началась политика кардинальных преобразований. Я только потом понял, что Крючков, хорошо зная о моих настроениях (в ИМЭМО работал большой отряд КГБ), пристраивался к ним из карьерных соображений. К стыду своему, я поспешил зачислить его в сторонники реформ, но и Крючков, надо признать, умело и вдохновенно морочил мне голову. Конечно же переговоры с Громыко были, как я полагаю, не единственным каналом подготовки к избранию Горбачева. Знаю, например, что Егор Лигачев встречался с ведущими периферийными членами ЦК. Открывалась новая страница в жизни государства, страница мартовско-апрельской революции. Она продолжалась с марта 1985-го до роспуска СССР в Беловежской пуще. Всего пять с половиной лет, а сколько событий и перемен вместились в этот крохотный кусочек истории... Не могу сказать определенно: то ли это было интуитивное озарение,

то ли молодой карьерный задор, то ли неумное тщеславие, пусть и по причинам, которые навсегда останутся загадкой, но Михаил Горбачев совершил личный и общественный поступок большого масштаба. Именно в контексте этой позиции я и рассматриваю все мои дальнейшие рассуждения об этой личности, в том числе и критические мотивы.

Мы встречались очень часто. А по телефону разговаривали почти каждый день и достаточно откровенно. Казалось бы, в этих условиях человека можно разглядеть насквозь, познать его вдоль и поперек, уметь предугадывать его действия и понимать причины бездействия. Но, увы, как только начинаешь думать о нем как о человеке и как лидере, пытаешься придать своим разноплановым впечатлениям какую-то логику, то ощущаешь нечто странное и таинственное — образ его как бы растворяется в тумане. И чем ближе пытаешься к нему подобраться, тем дальше он удаляется. Видишь его постоянно убегающим вдаль.

Еще неуловимее становится он, когда начинаешь что-то писать о нем. Только-только ухватишься за какую-то идею, событие, связанные с ним, начинаешь задавать ему вопросы, как собеседник ускользает, не хочет разговаривать, отделяется общими словами, оставляя шлейф недоговоренностей и двусмысленностей. Ты просишь его вернуться, объяснить тот или иной факт, понуждая к участию в разговоре, иногда уговаривая, а иногда пытаешься и приструнить грубоватой репликой.

Про себя, конечно. И опять то же самое. После второй, третьей фразы обнаруживаешь, что собеседник снова улетучился, испарился. Во всей этой «игре в прятки» высвечивается любопытнейшая черта горбачевского характера. Не хочу давать оценку этому свойству в целом, но скажу, что эта черта не раз помогала Михаилу Сергеевичу в политической жизни, особенно в международной. Он мог утопить в словах, грамотно их складывая, любой вопрос, если возникала подобная необходимость. И делал это виртуозно. Но после беседы вспомнить было нечего, а это особенно ценится в международных переговорах.

Да, грешил витиеватостями, разного рода словесными хитросплетениями без точек и запятых. Иногда становился рабом собственной логики, которая и диктовала ход и содержание разговора, а он становился всего лишь как бы свидетелем его. Но эта беда в значительной мере функциональна: он умело скрывал за словесной изгородью свои действительные мысли и намерения. До души его добраться невозможно. Голова его — крепость неприступная. Мне порой казалось, что он и сам побаивается заглянуть в себя, откровенно поговорить с самим собой, опасаясь узнать

нечто такое, чего и сам еще не знает или не хочет знать. Он играл не только с окружающими его людьми, но и с собой. Играл самозабвенно. Впрочем, как писал Гёте, «что бы люди ни делали, они все равно играют...» Игра была его натурой. Будучи врожденным и талантливым артистом, он, как энергетический вампир, постоянно нуждался в отклике, похвале, поддержке, в сочувствии и понимании, что и служило топливом для его тщеславия, равно как и для созидательных поступков. И напрасно некоторые нынешние политологи и мемуаристы самонадеянно упрощают эту личность, без конца читая ему нотации, очень часто пошлые.

Когда я упомянул о словоохотливости Михаила Сергеевича, то тут же пришел на память один из самых первых эпизодов из времени его прыжка во власть. Когда мы с Болдиным — его помощником, отдали ему текст выступления на траурном митинге по случаю похорон Черненко, Горбачев сразу же обратил внимание на слово «пустословие».

Это словечко вписал я. Моя брезгливость к пустословию была выпестована опытом многих десятилетий. В условиях, когда страна была придавлена карательной системой большевизма, пустословие стало не только рабочим диалектом партгосаппарата, но и собирательным явлением функционального характера. Я возненавидел эту практику бессмысленной болтовни. Тошнит от нее и сегодня. Потоки слов, бесконечные упражнения в формулировках, спектакли, которые именовались дискуссиями, соревнования в любезностях начальству многие годы служили тому, чтобы скрыть сущностные стороны жизни и реальный ход событий, замазать обилием слов никчемность идей. Унифицированный до предела партгосязык стал своего рода социальным наркотиком. Общество устало от пустой говорильни, которая переросла в психическое заболевание системы.

Я думаю, чувствовал это и Горбачев. При обсуждении предстоящей речи он долго говорил о том, что болтовня губит партийную и государственную работу, подрывает авторитет КПСС, что словами прикрывается бездумье и безделье, — и все в том же духе. Мне импонировала эта тональность, она рождала надежды, а самое главное — доверие к человеку. Критика пустословия прозвучала выстрелом по эпохе слов и одновременно была как бы приглашением к реальным делам.

К каким? Об этом мало кто задумывался, но люди жили надеждой на перемены и радовались любому сигналу, пусть и словесному. Как же измучено было общество ложью — всепроникающей и всепожирающей, чтобы порадоваться даже одному слову, прозвучавшему как некое «откровение».

К чему я это пишу? А к тому, чтобы засвидетельствовать следующее: в первые два года, несмотря на то что любое выступление Горбачева, неважно, длинное или короткое, воспринималось с неподдельным интересом, проглатывалось без остатка, сам герой в те годы относился к своим словам бережно, не один раз говорил нам, чтобы «не растекались по древу», писали яснее и короче. Потом все пошло наперекосяк. Он начал грешить многословием. Порой казалось, что он и сам хотел бы сказать что-то покороче, но неведомая сила, над которой он терял управление, толкала его к новым и новым рассуждениям. Даже толковые мысли, будучи сваленными в одну кучу с банальностями, теряли свое реальное содержание.

В какой-то момент мы, группа, как теперь говорят, спичрайтеров, а раньше обзывались «писаками», решили поговорить с Михаилом Сергеевичем на эту тему. Это было зимой 1987 года на даче в Волынском. Разговор этот начал я, упирал на то, что обстановка изменилась, жизнь требует конкретики. Для вящей убедительности ссылался на Ленина, который часто выступал по какому-то одному вопросу. Ленин у него был в чести. Впрочем, он и сегодня продолжает иногда «советоваться» с ним.

Поначалу, слушая наши соображения, Горбачев хмурился, затем мы сумели как бы «завести» его. Он присоединился к обсуждению проблемы, добавил несколько слов в пользу «краткости и конкретности», то есть вернулся к аргументам марта — апреля 1985 года. Мы подготовили речь минут на пятнадцать, к сожалению, не помню, на какую тему. Через день-другой Михаил Сергеевич снова приехал. А мы гадали, пройдет или не пройдет идея нового стиля. Но не только. С моей точки зрения, это был бы серьезный сигнал обществу — наступает время конкретных дел.

Увы, по неулыбчивому лицу Горбачева мы поняли, что все останется по-прежнему. Сначала начались придирки: «речь пустая, одни слова, ничего серьезного» и т. д. На другой день опять заглянул к нам, в Волынское, и сказал, что принял решение и на сей раз выступить, как обычно, с большой речью.

Обстановка нелегкая, говорил он, народ ждет ответов на многие сложные вопросы. На том все и закончилось. Михаил Сергеевич еще верил, что «народ ждет», хотя народ «ждать» перестал. А КГБ продолжал кормить его дезинформацией, вводить в заблуждение относительно реальной обстановки. Вдохновляемый подхалимами, он начал говорить о себе в третьем лице: «Горбачев думает», «Горбачев сказал», «они хотят навязать Горбачеву» и без конца ссылаться на «мнение народа».

И потекли невысыхающим ручьем длинные речи — о том, о сем, пятом и десятом. Их начали слушать вполуха, а главное —

перестали воспринимать всерьез. Я вижу в этой привязанности к многословию не только закоренившую традицию, но и привычный способ скрыться от конкретных вопросов в густых, почти непроходимых зарослях слов. Михаил Сергеевич постепенно пристрастился к изобретению разного рода формулировок, претендующих на статус теоретических положений. Он радовался каждой «свежей», на его взгляд, фразе, хотя они уже мало кого волновали, воспринимались как искусственные словосочетания. Жизнь-то быстро шла вперед, формировался новый политический язык, а лидер никак не мог вытащить вторую ногу из вязкой глины уходящей эпохи, совсем уйти от умирающей стилистики языка, которую сам же и начал разрушать.

Психологически эту тягу «к необычному» я объясняю тем, что он был поглощен (а это так) не только идеей общественного переустройства, которую ему хотелось объяснить как можно подробнее, но и стеснен особыми качествами, характерными для людей, которые окончили университеты, а вот с хорошим средним образованием отношения у них оставались несколько двусмысленными. Отсюда и «открытия» давно известных истин. Впрочем, это не такая уж большая беда.

Но и мы, «чернорабочие» в подготовке текстов, всю старались изобрести что-то «новенькое», дабы потратить жаждущему такового. Наши старания были искренними, но и в какой-то мере приспособленческими, идущими от номенклатурных привычек, да еще от желания не вспугнуть начавшиеся реформы каким-то неловким движением, не затуманить красивый утренний восход — Перестройку.

Кроме того, мы знали, что Горбачев все равно передиктует наши тексты, навставляет туда всяких своих словечек, чтобы потом на ближайшем заседании ПБ при обсуждении текста доклада или выступления заявить, что вот, пришлось плотно поработать самому, проект был слабенький и не содержал глубоких выводов. Он как бы взбирался на мнимую трибуну и начинал подробно рассказывать, как пришли к нему эти «новые мысли и предложения», как он позвонил Яковлеву, зная, что он тоже «сова», и т. д. Подобные мизансцены стали ритуальными. Кстати, я не вижу в них ничего плохого, больше того, они были полезными, ибо политбюровцы были и сообразительностью, и образованностью слабее Горбачева. Иногда после заседания он с ухмылкой спрашивал меня: «Видел реакцию этой публики?»

Мои наблюдения по поводу характера нашей работы над текстами для Горбачева относятся к человеку пишущему и думающему. У меня нет ни малейших «претензий» подобного рода к предыду-

щим «вождям», они чисты, как голуби после купания, ибо ничего сами не писали, если не считать полуграмотные резолюции. Михаил Сергеевич — первый постсталинский руководитель, который мог писать, умел диктовать, править, искать наиболее точные выражения, а главное, был способен альтернативно размышлять, без сожаления расставаться даже с собственными текстами. Он никогда не обижался, если мы вычеркивали «его вставки». К так называемым «обязательным» формулам из коммунистического наследия относился без того ритуального почтения, которое господствовало в практике сочинений речей для всех без исключения предшествующих «вождей». Все они говорили чужие речи. Он — свои.

Группа спичрайтеров то увеличивалась, то уменьшалась — в зависимости от того, на каком этапе шла работа. Начинали, как правило, большими группами, а заканчивали достаточно узким кругом. В первые годы возглавлять такие группы приходилось мне. «Рыбу» — так называли самые первоначальные тексты, готовили отделы аппарата ЦК КПСС, институты АН СССР. Конкретные, особенно цифровые, предложения исходили от правительства.

Я имел возможность судить по этим текстам о политических настроениях в тех или иных отделах ЦК. Группу спичрайтеров не любили, но и боялись. Так было всегда — и при Хрущеве, и при Брежневе. «Карьерные попрыгунчики» искали знакомства с «приближенными» к уху начальства, надеясь повысить свое должностное положение. Практически я оказался на своего рода наблюдательном пункте, с которого были видны интриги, предательства, подсиживания, доноительство — и все ради карьеры, ради власти. Порой охватывало такое уныние, что хотелось все бросить к чертовой матери и найти себе более спокойное пристанище.

Тем временем Реформация все чаще натывалась на неожиданные трудности, все глубже увязала в неопределенностях идей и практических задач. Политика вырвалась вперед, а экономика и государственное управление продолжали оставаться в замороженном состоянии. Горбачев не сумел найти в себе силы на жесткое продвижение конкретных реформ, которые диктовались новой обстановкой, особенно в экономике и системе власти. *В результате была допущена историческая ошибка, когда на основе советской системы, а в действительности на фундаменте государственного феодализма мы вознамерились строить демократический социализм на принципах гражданского общества.*

Из истории известно, что роль «первого лица» в формировании политической и нравственной атмосферы в государстве огромна, а потому упорное обнюхивание Горбачевым «социализма», идею

которого Сталин превратил на практике в «тухлое яйцо», серьезно мешало формированию реформаторского мышления, продвижению его в массы, равно как и конкретным перестроечным делам. Михаил Сергеевич действительно верил в концепцию демократического социализма.

Ему казалось, что если очистить социализм от агрессивной догматики, не мешать людям строить свою жизнь самим, то он станет привлекательным и дееспособным. Должен в связи с этим бросить упрек и самому себе. Я видел, что номенклатура потеряла социальное чутье, но явно недооценил догматизм и силу инерционности аппарата, особенно ее руководящего звена. Обстановка требовала углубления реформ. Уже тогда я понимал необходимость публичного отказа от таких постулатов, как насилие, классовая борьба, диктатура пролетариата, а в практическом плане — введения свободной торговли, развития фермерства, многопартийности, то есть движения общества к новому качеству.

Тут я был недостаточно настойчив, утешал себя благими разговорами. Итак, начавшееся упоение Горбачева собственными речами снизило не только интерес к его личности, но и уровень их влияния на общество. В начальный период лидерства Горбачев как бы перегнал время, сумел перешагнуть через самого себя, а затем уткнулся во вновь изобретенные догмы, а время убежало от него, да и от нас тоже. Чем больше возникало новых проблем, тем меньше оставалось сомнений. Чем сильнее становился градопад конкретных дел, тем заметнее вырастал страх перед их решением. Чем очевиднее рушились старые догмы и привычки, тем привлекательнее выступало желание создать свои, доморощенные.

Возможно, все эти зигзаги лично я воспринимал болезненнее, чем надо было. Происходило подобное по той простой причине, что я продолжал дышать атмосферой романтического периода Реформации, когда первые глотки свободы туманили голову. Да и оснований для этого было достаточно. На смену страху приходила открытость, возможность говорить и писать все, что думаешь, творить свободно, не боясь доносов и лагерей. Наступила счастливая пора сделать что-то разумное. Работалось вдохновенно, а цель была великой.

Команда, дерзнувшая пойти на Реформацию, работала на начальном этапе сплоченно и с уважением друг к другу. К сожалению, мы прохлопали тот момент, когда романтический период, — период вдохновения, восторга, свободы, — постепенно становился полем сладкой пиццы для политических грызунов, соорудивших сегодня общество спекулятивной демократии, постепенно превратившейся в управляемую демократию. Впрочем, снова по поряд-

ку. Что еще можно добавить, размышляя о Горбачеве? Пожалуй, Михаил Сергеевич «болел» той же болезнью, что и вся советская система, да и все мы, его приближенные. В своих рассуждениях он умел и любил сострадать народу, человечеству. Его искренне волновали глобальные проблемы, международные отношения с их ядерной начинкой. Но вот сострадать конкретным живым людям, особенно в острых политических ситуациях, не мог или не хотел. Защищать публично своих сторонников Горбачев избегал, руководствуясь при этом только ему известными соображениями. По крайней мере, я помню только одну защитную публичную речь — это когда он «проталкивал» Янаева в вице-президенты, которого с первого захода не избрали на эту должность. Это была его очередная кадровая ошибка.

В то же время ловлю себя на мысли, что лично я не могу пожаловаться на его отношение к себе, особенно в первые годы совместной работы. Но его доброжелательность, доверительность в личных разговорах продолжались лишь до тех пор, пока Крючков не испоганил наши отношения ложью.

Я не склонен думать, что Горбачев верил доносам Крюčkова о моих «несанкционированных связях» (читай: «не санкционированных госбезопасностью») с иностранцами, но на всякий случай начал меня остерегаться. На всякий случай! Ничего не поделаешь, старые советские привычки. А вдруг правда! Ввел ограничения на информацию. Если раньше мне приносили до 100–150 шифровок в сутки, то теперь 10–15. В сущности, он отдал меня на съедение Крючкову и ему подобным прохвостам.

Если бы я знал об этих играх, затеянных за моей спиной Крючковым, то повел бы себя совершенно по-иному. Я сумел бы показать подобным придуркам свой характер. Трудно теперь сказать, к чему бы это привело. Но в любом случае я бы забросил в мусорную корзину все мои колебания, сомнения, переживания, исходящие из чувства лояльности к Горбачеву, и начал бы действовать без оглядки, соответственно тому, как я понимал обстановку и интересы Перестройки.

Чувствуя кожей, что происходит что-то странное, я в то же время настолько доверял Горбачеву, что и в мыслях не допускал даже возможности двойной игры. Я даже перестал смотреть ему в глаза, боясь увидеть там нечто похожее на лицемерие. Возможно, ему надоели упреки и со стороны местных партийных воевод, требовавших моего изгнания из Политбюро. Возможно, что я становился ему в тягость из-за моего радикализма. Ревниво смотрел он и на мои добрые отношения со многими руководителями средств массовой информации и лидерами интеллигенции.

Задним умом, которым, как известно, все крепки, я оцениваю ту давнюю ситуацию следующим образом. Михаил Сергеевич не мог швырнуть меня в мусорную яму, как изношенный ботинок, от которого одни неприятности, да и гвозди торчат. Но и не решался поручить мне что-то самостоятельное. А ему продолжали нашептывать, что Яковлев подводит тебя, убери его — и напряженность в партии и обществе спадет. В свою очередь он продолжал тешить себя компромиссами, которые, как ему казалось, верны в любых обстоятельствах и во все времена.

Продолжая рассуждать о Горбачеве и своих раздумьях, я постоянно опасаясь причуд и капризов собственной памяти, которая всегда избирательна. Кроме того, любые оценки сугубо относительны. И все же неизбежна разница в восприятии, когда видишь людей издали и когда наблюдаешь вблизи. Издали поступки кажутся как бы обнаженными, они в какой-то мере самоочевидны. Вблизи же частности, которых всегда полно, заслоняют что-то более важное, существенное.

Намерения, мотивы и даже действия человека, с которым работаешь в одной упряжке, видятся в основном логичными и плохо поддаются объективному анализу. А если и появляются какие-то сомнения, то острота их тобой же искусственно притупляется.

Есть и еще одна психологическая загвоздка. Уже многие годы Горбачев находится в положении «обвиняемого». Я по себе знаю, что это такое. В подобной обстановке оценивать его деятельность и личные поступки особенно трудно. Возникает протест против несправедливых и поверхностных обвинений, против попыток некоторых «новых демократов» приписать себе все то крупномасштабное, что произошло еще до 1991 года. Не хочется также и оказаться в толпе тех, которые, освободившись от вечного страха, теперь хотят компенсировать свои старые холопские комплексы тем, чтобы щелкнуть по носу бывших президентов, при этом подпрыгивать от радости и, свободно сморкаясь, приговаривать: «Вот какой я храбрый, все, что хошь, могу».

Правда и то, что годы совместной работы неизбежно ведут к пристрастности в оценках, будь то положительных или иных. Особенно если эти годы вместили в себя романтические надежды, далеко идущие планы, личное вдохновение, напряженный труд, наверное, какие-то иллюзии и, что греха таить, разочарования, в том числе и личностного характера. А недомолвок оставлять не хочется, хотя и писать обо всех мелочах нет желания, дабы не оказаться в ряду собирателей «развесистой клюквы».

Признаюсь, в черновом наброске политико-психологического портрета Горбачева я был более резок, мои рассуждения были

ближе к претензиям и обидам, чем к спокойному анализу. Сейчас я ловлю себя на желании скорректировать некоторые оценки. Да и новые разочарования нарастают, совсем не связанные с деятельностью Горбачева. Нам, реформаторам первой волны, и в голову не приходило, что во время реформ начнется чеченская война, что коррупция властных структур станет предельно наглой, что государство не будет платить за работу врачам, учителям, а пенсионеров переведет в категорию нищих, что чиновничья номенклатура захватит власть в стране. Но вину-то за все беды продолжают возлагать на нас, Горбачева и Перестройку в целом.

Взаимосвязь личности и объективных результатов ее деятельности — проблема из категории вечных. Особенно в истории и политике, где каждая крупная личность и каждая социальная эпоха по-своему уникальны и неповторимы. Начало Реформации в России уже принадлежит истории, изменить тут ничего нельзя, да и не нужно. Однако споры о самой Перестройке, о роли реформаторов тех лет в судьбе народа не утихают, они будут идти еще очень долго. Судя по нынешним временам, появятся богатые возможности и для сравнительного анализа.

Сразу же после XXVII съезда на заседании Политбюро 13 марта 1986 года Горбачев изложил свою программу Перестройки. Согласно моим личным записям, достаточно реалистическую. Записи фрагментарны, но дают представление о том, какие проблемы особенно волновали лидера партии.

Он говорил о том, что высшее руководство КПСС, начав демократические преобразования, продемонстрировало инициативу исторического масштаба. Но нам еще предстоит понять, что произошло. Хотя кредит доверия еще существует, однако не должно быть никакого упоения. Надо пресекать демагогию, но правдивая критика должна идти своим чередом.

Создавать атмосферу общественной активности. У нас не хватает порядка, не хватает дисциплины. Закон один для всех, одна дисциплина для всех. Нам надо устремиться туда, где происходит стыковка с жизнью. А это значит — резко повернуться к социальной сфере. Главные направления — финансы, сельское хозяйство, легкая промышленность. Через неделю, на заседании ПБ 20 марта, Горбачев заявил: «Не надо пугаться того, что мы отходим от идеологических шор в сельском хозяйстве. Что хорошо для людей, то и социалистично».

Обращаю внимание читателя на то, что уже в то время, а это было начало 1986 года, Горбачев говорил о демократии, о законе и порядке, о равенстве всех перед законом, о приоритете социальной сферы, об идеологических шорах. Все это звучало тогда

свежо и перспективно. В личных беседах со мной он и раньше говорил в подобном плане, но теперь эти проблемы поднимались на официальном уровне. Однако самые храбрые намерения не становились реальными делами, не подкреплялись столь же смелыми практическими решениями.

Механизмы оставались старыми, проржавевшими, а вся машина ехала по колдобинам старых дорог. Без конца рассуждая о правовом государстве, что звучало для людей абстрактно, мы, реформаторы, не сделали ничего серьезного, чтобы лозунги и практика, направленные на внедрение законов, объединились в единое целое, а воспитание законопослушничества стало бы приоритетной задачей, особенно после десятилетий беззакония. Немало было и разговоров о гражданском обществе, но в практике работы любые попытки создать какие-то реальные институты такого общества встречались партийными организациями в штыки. Аргументы банальны: любые неформальные организации изображались как посягательство на власть партии. Чуть ли не еженедельно обсуждались проблемы сельского хозяйства и продовольствия. Но не было сделано ни одного практического шага, чтобы кардинально решить эту проблему.

Для этого надо было постепенно распустиť колхозы, ввести частную собственность на землю, объявить свободу торговли, но замахнуться на подобное мы были не в состоянии — ни идеологически, ни политически. Догмы еще горланили победные песни.

Много слов было потрачено и на призывы к борьбе с преступностью, коррупцией, бюрократизмом, но переплавить призывы в практику мы так и не смогли. Я часто приставал к Михаилу Сергеевичу с этими вопросами, но он так и не оценил в полной мере уже складывающейся угрозы. Во время очередного разговора на эту тему Горбачев сказал: «Вот и займись этим». И настолько «расщедрился», что разрешил взять дополнительно в мой секретариат одного консультанта. Я собрал пару раз руководителей силовых и правоохранительных ведомств и убедился в их глубочайшем нежелании сотрудничать. Договорились «выработать», как всегда в этих случаях, конкретные меры. На том дело и закончилось. А Михаил Сергеевич вообще ни разу не вспомнил об этой координационной группе.

В обстоятельствах, что сложились к середине 80-х годов, любой лидер, если бы он захотел серьезных изменений, должен был пойти на «великое лукавство» — поставить для себя великую цель, но публично говорить далеко не все. И соратников подбирать по признаку относительно молчаливого взаимопонимания по ключевым вопросам преобразований. Аккуратно и точно дозировать

информационную кислоту, которая бы разъедала догмы сложившейся карательной системы. Я отношу определение «карательной» ко всей системе, ибо все органы власти были карательными — спецслужбы, армия, партия, комсомол, профсоюзы, даже пионерские организации. В этих условиях лидер должен был соблюдать предельную осторожность, обладать качествами политического притворства, быть виртуозом этого искусства, мастером точно рассчитанного компромисса, иначе даже первые неосторожные действия могли привести к краху любые новаторские замыслы. Ведь речь-то шла о ненасильственной революции.

Готов ли был Михаил Сергеевич к этой исторической миссии? В известной мере — да. Что же касается притворства, то к этому всем нам было не привыкать. Оно было стилем мышления и образом жизни. Горбачеву доставляло удовольствие играть в компромиссные игры. Я неоднократно наблюдал за этими забавами и восхищался его мастерством. И все было бы хорошо, если бы он смог увидеть конечную цель не в торжестве обновленной социалистической идеи, а в решительном сломе сложившейся системы и реальном строительстве гражданского общества в его конкретных составных частях.

Михаил Сергеевич пытался уговорить номенклатуру пойти за ним до конца. Но можно ли было превратить ястреба в синичку, заставить тиранию возлюбить демократию? Увы, сама система заржавела настолько, что все новое было для нее враждебно. Самообновиться она не могла. Субъективно Горбачев пытался удержать аппарат от авантюры. На это ушло очень много сил и времени. Он как-то сказал мне, что «этого монстра нельзя сразу отпускать на волю». В конечном-то счете он «списал» партию вместе с ее властью, но это случилось с большим запозданием. Верхушка партии жестоко отплатила ему, лишив его власти через антигосударственный мятеж. Не прояви Борис Ельцин решительности в подавлении мятежа, всем реформам пришел бы конец, реформаторам — тоже.

Горбачев принадлежит к тому поколению советских людей, в психологии которых поразительным образом соединились, даже сплелись, казалось бы, самые противоположные черты: идеализм и житейский прагматизм, официальный догматизм и практические сомнения, вера и безверие, а также пустивший мощные побеги здоровый цинизм, навязанный социумом, равно как и благоприобретенный. Идеализм шел от молодости, от учебы и воспитания, от естественной веры в свои будущие удачи, от ограниченности знаний — тоже по молодости, из-за малого опыта, из каких-то других источников.

Убеждение в верности советского выбора было подкреплено тяжелейшей из войн 1941–1945 годов, по сравнению с которой мирная жизнь — любая, самая бедная и скромная, но мирная, но жизнь. Время после самой кровавой войны в истории было тяжелое, но люди работали, ждали и надеялись. Невероятно много и напряженно работали. Без нытья. Они ждали справедливости. Бесконечно усталые, они надеялись, что в награду за пережитое их ждет спокойная и обеспеченная жизнь. Я помню это время. Помню до деталей. Мы, студенты ярославских институтов, с громким и веселым энтузиазмом ежедневно с 4–5 часов утра работали на строительстве набережной, там, где моя родная река Которосль впадает в Волгу. Молодость бушевала, рвалась навстречу достойной жизни. Но такая жизнь не пришла. И впивались в душу новые и новые сомнения, словно комары неотвязные. Страх еще жил, но и раздражение набирало свои обороты. Да и солдат, вернувшийся с войны, был уже не тот забитый и доверчивый рабочий и крестьянин, врач и учитель, инженер и ученый, что пошел на войну. Много повидал, а еще больше прочувствовал. Грязь и жестокость войны, миллионы бессмысленных жертв, произвол военных карьеристов ломали привычные представления о справедливости. Если говорить о развитии общественного сознания в целом, то былой идеализм и романтические надежды поджидали трудные испытания. К середине 80-х годов они подошли, едва волоча перебитые ноги. Мотор системы, то есть номенклатура, тоже начал барахлить и оказался в предынфарктном состоянии. Практицизм с годами становился все менее отличим от приспособленчества и прямого лихоимства, особенно со стороны чиновников, столь красочно воспетых русской классической литературой.

Поколение Горбачева с самого начала варилось в этом послевоенном котле. Когда закончилась война, ему было всего 14 лет. Не берусь судить о том, как складывалась личность Горбачева в юношеские годы. Разное говорят. В меру открыт и в меру коварен. Любопытен, но себе на уме. Общественник, но не лишен индивидуалистических замашек. Честолюбив без меры, но и трудолюбив. Цепкая память. Общителен, но настоящих друзей не было, точнее, он не видел в них особой нужды. Так говорят. Но что бы ни говорили, я убежден, что человек, сумевший добраться до первого секретаря крайкома партии, а затем и секретаря ЦК, прошел нелегкую школу жизни, партийной дисциплины, паутину интриг, равно как и предельно обнаженных реальностей, — этот человек не может не обладать какими-то особыми качествами. Случайности случайностями, они бывали, но сама система партийной жизни действовала как бдительный и жесткий селекционный

фильтр, закрепляя и развивая в человеке одни его качества, подавляя другие, атрофируя третьи. Все, кто вращался в политике того времени, упорно ползли по карьерной лестнице, приспосабливались, подлаживались, хитрили. Только степень лукавства была разная. Никто не просачивался во власть вопреки системе. Никто. И Горбачев тоже.

Но у него была особенность, отличавшая его от многих. Он хотел знать как можно больше, причем обо всем — полезном и бесполезном. Часто выглядел наивным, когда начинал говорить о вновь узнанном, полагая, что никто еще не знает об этом. Обычно радостная демонстрация знания в зрелом возрасте производит впечатление какой-то наигранности. И это не укор, а, скорее, похвала, ибо речь идет о потребности новых знаний, что всегда подкупает.

Специфика советской школы жизни, на мой взгляд, состоит и в том, что пребывание «в начальниках» — больших или не очень — формировала особый образ жизни. Ее условности, правила игры, интриги и многое другое не отпускают человека ни на минуту, держат в постоянном напряжении, они вытесняют собой все остальное, подчиняют себе общение, досуг, мелкие повседневные привычки. В условиях партийно-чекистской «железной клетки» редкий человек может остаться самим собой. И даже порядочный человек поддается деформации. Чем дольше он живет в коллективном зверинце, тем все меньше замечает происходящие перемены в самом себе, постепенно начинает считать официальные взгляды своими, личными. Альтернатива испаряется, а сам человек становится всего лишь попугаем. Когда рабство оказывается для человека собственным домом, человек перестает ощущать себя рабом.

Еще один урок этой школы: человек рано или поздно понимает, с какой мощнейшей и всеподавляющей организацией имеет дело и насколько ничтожны его личные возможности. Чугунный каток. Нет необходимости повторять, что в объединенной корпорации «Партия — Государство — Карающий меч» человек даже не песчинка, а просто возобновляемый ресурс — и не более того. Чтобы выжить в этой Системе, а затем добиться в ней каких-то перемен и сокрушить ее изнутри, надо очень хорошо знать эту Систему, все закоулки ее внутренних связей и отношений, ее догмы и штампы. Не только состояние экономики, нищенская жизнь, техническая отсталость довели Систему до абсурда, но и пропаганда, с утра и до вечера утверждающая, что «все советское — самое лучшее» и что нам везде сопутствуют «успехи». Именно на этой базе и формировался официальный кретинизм.

Как сейчас вижу на воротах лозунг: «Вперед к коммунизму», а за воротами мусорная свалка. Надо хорошо знать слабости

Системы, чтобы выдавать их за достоинства, знать ее очевидные поражения, чтобы изображать их как победы, знать ее развалины, чтобы преподносить их как шедевры зодчества. В этих условиях и возникло уникальнейшее явление, широко распространившееся в литературе, журналистике, общественной науке. Я имею в виду междустрочное письмо, которым жило советское интеллектуальное сообщество, статьи-аллюзии — от них буквально «вскипали» партийные чиновники и цензура, когда их замечали. Да еще анекдоты. Советское время — это расцвет анекдотного остроумия и междустрочного письма. Что ни говори, а междустрочное письмо стало своего рода лукавым пристанищем для мыслящей интеллигенции и всей «внутренней эмиграции», оно было доведено до высочайшего мастерства.

Византийство как политическая культура, как способ даже не вершить политику, но просто выживать в номенклатуре — суть такой Системы. Одни открыто лицемерили, другие тихо посмеивались. Третьи ни в чем не сомневались, что и служило социально-психологической базой сталинизма. А кто был не в состоянии освоить науку византийства, отсеивался. Тот же, кто выживал, становился гроссмейстером византийства, выигрывая не одну олимпиаду аппаратных интриг. В систему византийства дозволено только вписываться, но ни в коем случае не предлагать какие-то действительно новые правила игры. И лишь потом, достигнув известных должностных высот, можно было добавить к этим правилам что-то свое, но не раздражающее других игроков. Повторяю, принципиальных изменений византийство принять, если бы даже захотело, не могло, не разрушая саму Систему.

Не стану утверждать, что мои наблюдения точные. Не скажу, что способность Горбачева к быстрой смене собственного образа и подходов к решениям всегда имела отрицательный смысл, нет. Я даже не знаю, управлял ли он полностью этой способностью или она составляла органическую часть его натуры. Иными словами, ему не откажешь в даре осваивать новые для себя роли, политические и жизненные ситуации, он наделен вкусом к переменам, которым располагает далеко не каждый. В способности менять взгляды на те или иные проблемы, даже на исторические события, тем более, оценки текущих дел нет ничего предосудительного, скорее, это говорит о творческом потенциале человека, его нормальном психическом и умственном состоянии. Тверды и постоянны в своих убеждениях только живые мертвецы.

К сожалению, охота за компромиссами не всегда приносила Михаилу Сергеевичу удачу. Во второй половине его деятельности уже в качестве президента он постепенно стал рабом компромис-

сов. Охватившая его после XXVIII съезда растерянность лишила дара точного политического расчета. Готовясь к очередному заседанию Съезда народных депутатов (а предыдущее провалило экономическую программу Шаталина — Явлинского — Петракова), Горбачев подготовил несколько пунктов «спасения» страны. Они были практически бессмысленными, по сути своей шагом назад. А потому и получил он «бурные аплодисменты» дремучего большинства на съезде.

Потом Горбачев говорил, что данная импровизация представляла из себя тактический маневр. А на самом деле он «сдал» экономическую программу «500 дней» под лицемерное «одобрание» большевистского лобби, «сдал» работающую демократическую структуру — Президентский Совет, но «сдал»-то он прежде всего самого себя. Он отбросил в сторону и меня. Я вообще оказался не у дел. Было обидно и за себя, и горько за лидера. Но главное состояло все-таки в том, что Горбачев, отстранив своих ближайших соратников от процесса Перестройки, именно в этот момент фактически потерял и свою власть. Формально это произошло в декабре 1991 года, а в жизни — на год раньше. Крючков и его поделщики из высшего эшелона власти, в основном давние агенты и выдвиженцы спецслужб, по-своему оценив сложившуюся ситуацию, начали восстанавливать утраченные ими позиции. Раздев Горбачева догола в кадровом отношении, они приступили к подготовке мятежа.

После Фороса я вернулся к Горбачеву — так велела совесть. Но снова получил щелчки по носу. У меня есть способность становиться выше житейских интриг и политических мелочей. Но при каких-то общественных и личных обстоятельствах эта способность оборачивается и недоброй своей стороной — неоправданными метаниями, предоставляет возможность другим не считаться с тобой, пнуть в твое самолюбие и походя обидеть. Так получилось и со мной.

Михаил Сергеевич — человек образованный, что для его бывшего политбюровского окружения было далеко не нормой. Естественно, что после войны, когда страна испытывала сильнейший кадровый голод, двери наверх перед многими распахивались достаточно широко (я знаю это по себе). Привыкший работать, несомненно увлеченный открывавшимися перспективами, Горбачев, надо полагать, справлялся с теми задачами, которые ему приходилось решать на Ставрополье.

На всех этапах партийной карьеры ему сильно помог — и в продвижении вплоть до самого верха, и в обретении того образа, который закрепился за ним, — интенсивно нараставший интел-

лектуальный разрыв между высшей партийной номенклатурой и наиболее образованной частью общества. В верхних эшелонах партийного и государственного управления традиционно оставалась низкая мобильность «вождей» всех рангов, а со временем эта система совсем застыла. Секретари обкомов и ЦК, министры и их заместители, а вслед за ними и многие руководители среднего звена сидели в одних и тех же креслах уже не годами, а десятилетиями, а то и пожизненно.

В чем тут беда? Это были не просто старые и больные люди, фактически не способные на каком-то этапе жизни работать в полную силу. Они, будучи руководителями наивысшего ранга, имели, за редким исключением, крайне скромное образование. Как правило, сельскохозяйственное или техническое, причем полученное очень давно, но не правовое, не экономическое, не гуманитарное. На фоне тогдашней верхушки Михаил Сергеевич действительно олицетворял собой энергию и образованность. И выиграл он соревнование не с подобными себе, а с людьми другого поколения. Это в значительной мере объясняет, почему так быстро и легко родилась в середине 1980-х годов «легенда Горбачева».

Что же касается событий на первом этапе Реформации, то они тоже весьма противоречивы, как и сам Горбачев. Одна линия — андроповская, то есть закручивание гаек, укрепление дисциплины через разные запреты. Наиболее убежденными ее представителями, хотя и в разной степени, были Лигачев, Крючков, Никонов, Воротников, Соломенцев, Долгих.

Уже в мае 1985 года вышло Постановление Совета Министров СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогонарения». Оно привело к тяжелым экономическим потерям, росту наркомании и увеличению самогонарения и пьянства. Первый практический сигнал обществу от новой власти оказался разочаровывающим.

Я знаю этот вопрос не понаслышке. В свое время, еще до канадского периода моей жизни, где-то в шестидесятых годах, я оказался руководителем рабочей группы ЦК по подготовке проекта постановления Политбюро по борьбе с алкоголизмом. Дискуссии по этому поводу были очень острыми. Наша группа предложила постепенно сокращать производство низких сортов водки, но одновременно увеличивать производство коньяков, вин высшего качества и безалкогольных напитков. Намечалось увеличение производства пива, для чего планировалась закупка оборудования за рубежом. Политбюро ЦК приняло эти предложения. И все бы пошло нормально, но на заседании Верховного Совета министр финансов заявил, что бюджет не будет выполнен, если постановление по алкоголизму

останется в силе. В результате все заглохло. Министр финансов облегчил себе жизнь, а люди продолжали пить отраву.

Вернемся, однако, к постановлению от 1985 года. Что творилось на местах, трудно описать. Запрещалось не только торговать водкой, вином и пивом, но и пить, скажем, шампанское на свадьбах, юбилеях, днях рождения и на других праздниках. Почти на каждом Секретариате ЦК кто-нибудь из государственных или партийных чиновников наказывался за недостаточное усердие в борьбе с пьянством и алкоголизмом.

Уничтожались виноградники, импортное оборудование для пивоварения, хотя постановлением подобного не предусматривалось. Пойдя на поводу у блаженных придурков, подписал Михаил Сергеевич себе приговор. И пошел гулять по стране один из первых анекдотов о Горбачеве. Вьется по улицам очередь за водкой. Один с «красным носом» не выдержал и заявил: пойду в Кремль и убью Горбачева. Через какое-то время вернулся. «Ну?» — спрашивают. «Да, там очередь еще длиннее!» Теперь и сам Михаил Сергеевич рассказывает этот анекдот.

Весной 1986 года появилось постановление «О мерах борьбы с нетрудовыми доходами», согласно которому началось невообразимое преследование частной торговли овощами, картошкой, фруктами, цветами. Началась охота за огородниками, за владельцами тех крохотных ферм в четверть гектара, развитие которых определило бы всю дальнейшую судьбу Перестройки³.

Оба эти постановления оттолкнули от Перестройки значительную часть людей. О замшелости мышления того времени говорит и уровень обсуждения некоторых вопросов на Политбюро. Сегодня все это выглядит смешным, но тогда мы с умным видом рассуждали о том, можно ли строить на садовых участках домики в два этажа, с подвалом и верандой (оказалось, что нельзя), какой высоты должен быть конек на крыше садового домика. Сошлись на том, что небольшие (6 соток) садовые участки — дело допустимое, но землю надо давать только на бросовых и заболоченных местах.

Хочу особо подчеркнуть тот выразительный факт советской эпохи, когда при выполнении наиболее безрассудных решений весьма эффективно продолжала демонстрировать свою силу и мобильность «система запретов». Партийные организации, милиция, власть в целом охотно и свирепо выполняли любые запретные постановления. В то же время вяло, неохотно и без всякого интереса исполнялись решения разрешительного плана, а чаще всего — просто не выполнялись.

Такова психология самой системы чиновничества, выращенного на карательных и запретительных принципах. Мы не суме-

ли создать госаппарат нового качества. Он остался саботажным и продажным, бездельным и презирающим любые законы. Остается таковым и по сию пору. Традиционных решений командно-административного характера в начале Перестройки было немало. Но вместе с этим постепенно выстраивалась и другая линия — обновленческая, демократическая. Справедливо будет вспомнить, что именно в эти годы приняты постановления о кооперации, демократизации выборов, совместных с иностранцами предприятиях, правовом государстве, арендных отношениях, конституционном надзоре, об основных направлениях перехода к рыночной экономике и многие другие. Я привожу здесь практически официальные названия решений. Была возобновлена работа по десталинизации общества, в том числе деятельность Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, предпринято издание «Известий ЦК КПСС», содержавших архивные документы о репрессиях большевизма. Это издание стало действенным оружием идеологической перестройки. Горбачев постепенно отходил от андроповского наследия и его методов. Но если продвижение политической демократии было достаточно быстрым и эффективным, то в экономике серьезно повернуться к реформам так и не удалось. Возьмем такой пример. На мой взгляд, экономически и политически определяющим вопросом Перестройки могло стать развитие малого и среднего бизнеса, особенно в малых и средних городах. И нельзя сказать, что в перестроечном Политбюро не было разговоров на эту тему. Еще на Политбюро 24 апреля 1986 года Михаил Сергеевич говорил о том, что «страна отстала во всем», «состояние экономики тяжелейшее», что упор надо сделать «на производстве товаров народного потребления» — это наиболее эффективный путь к экономическому выздоровлению.

На Политбюро 17 октября 1987 года Горбачев заявил, что «недооценка перерабатывающей промышленности — ошибка всех последних десятилетий», что малые и средние предприятия — стержень экономической политики. Я тоже предлагал тогда разработать специальную программу развития малого бизнеса, назвав ее программой «первых этажей». Суть ее: отобрать в городах первые этажи у чиновников и организовать там частную торговлю, сферу обслуживания и т. д. Но к практическим делам так и не подошли. Да и сами принятые решения были формальными, в основном порученческими. Не удалось «переломить» отношение к экономическим реформам и со стороны корпуса «красных директоров».

Вернемся еще раз к мартовско-апрельским дням 1985 года. Среди всего прочего, именно в те дни закладывались кирпичи одиночества Горбачева — человеческого и политического. В ЦК

и других организациях было немало людей образованных и свободомыслящих, которые сразу же потянулись к Горбачеву. Но на своем политическом и должностном уровне у него было слишком мало тех, кто был бы готов и способен при необходимости сыграть роль интеллектуально жесткой, психологически дискомфортной, но стратегически союзной с ним оппозиции, заинтересованной в общем успехе. Даже не оппозиции, а просто людей, способных отстаивать свою точку зрения. К началу 1991 года он не только утратил веру в себя, но и растерял людей, верящих в него.

Несмотря на склонность к анализу, известную наблюдательность, Михаил Сергеевич плохо разбирался в человеческих характерах. Чутья на людей Горбачеву явно недоставало. Да и вообще в его кадровой политике — бесконечная череда ошибок. Поговорит с кем-то, тот поклянется в верности Перестройке, глядишь — новый начальник. А в жизни — пустельга и неумеха, а то и вертихвостка. И в целом надо честно сказать, что многие глупости, ошибки, порой грубые, объясняются киселеобразной кадровой политикой. Сильного кадрового корпуса, готового честно служить преобразованиям, не сложилось. Больше того, официальные кадровики в окружении Горбачева сами были против Перестройки и соответственно подбирали руководящие кадры, в основном из антиреформаторов.

На мой взгляд, Горбачев не смог понять, что кардинальный демократический поворот требовал людей с действительно новым мышлением, он продолжал повторять: «Не нужно ломать людей через колено». Людей-то ломать, конечно, не надо, тем более через колено, но освобождать их от функций, которые они не в состоянии или не хотят выполнять, — святая обязанность, если ты захотел повернуть Россию к новому образу жизни. Не в сломанных ребрах тут дело, а в головах. Вот их и надо было расставлять по пригодности. Он же следовал старой мудрости «византийца» — играть на людских противовесах и противоречиях. Эта практика и не могла увенчаться успехом. У носорога — рога, и у барана — рога, но повадки разные. Носороги выжили, построили общество для себя, а бараны продолжают бить в барабаны.

Разделение одних и тех же функций с Лигачевым я воспринимал как недоверие к себе. Может быть, в какой-то мере и поэтому вел себя порой гораздо задиристее, чем диктовалось обстановкой. Сегодня не могу утверждать вполне уверенно, но отвечай я один за идеологию, возможно, был бы в некоторых случаях осторожнее, сдержаннее, а в других — определеннее и решительнее. Впрочем, нет хуже без добра.

В двойственности моего положения содержался какой-то вызов, который подталкивал к дерзости. Кроме прочего, охранительные

по многим идеологическим и политическим проблемам действия Лигачева служили своего рода ориентиром для действий наоборот.

Горбачев был жаден до информации. Я уже писал об этом. Но информация, поставляемая политику, обладает коварной особенностью: чем больше познает человек, тем протяженнее в его индивидуальном сознании оказывается линия соприкосновения с неизвестным, неизвестным. А следовательно, больше образуется простора и возможностей для сомнений, колебаний, нерешительности. И в то же время появляется опасность оказаться в плену у текущей информации, отдельных ее источников или поставщиков, подпасть под чье-то влияние (хорошо, если добронамеренное).

Желающих влиять на властвующего политика, тем более на лидера, появляется всегда больше, чем нужно. За такими людьми и группами стоят разные, но вполне конкретные интересы, а методы вползания в доверие отшлифованы веками. Наговоры, подхалимаж. Объективной и всесторонней информации политики высокого ранга практически не получают. Вот тут-то их и подстерегают спецслужбы со своей целенаправленной информацией. Вначале Горбачев умел отличать вымысел от правды, видел подхалимские пассажи, иногда вслух посмеивался над информационными трюками, с определенной долей безгловости отмахивался от хитренького словоблудия. Но потом... Потом интуиция стала давать сбои, захотелось «сладкого слова», которое у политических интриганов может быть только лживым.

Особенность горбачевского характера — способность воодушевляться, загораться на новое дело. Это хорошие качества, от которых, казалось бы, «рукой подать» и до эмоций, выражающих сопереживание, сострадание. К сожалению, примеров последнего маловато, а вот демонстративного отсутствия такого сострадания хоть отбавляй. Когда ряженные патриоты, особенно из писателей, «достали» меня ложью, я не выдержал и унизился до письма к Михаилу Сергеевичу с просьбой унять эту шпану. Говорю «унизился», ибо Горбачев и сам бы мог дать всему этому потоку грязи политическую оценку, которая была бы весьма дальновидной, но он не сделал даже попытки утихомирить политическое быдло, которое потом развернуло злобную кампанию и против него самого.

На этот раз он сказал: «Ну, давай я позвоню Бондареву»⁴. Горбачев, особенно его супруга, обожали его. Я ответил, что этого делать не надо. Вопрос не только мой. Дело-то в постепенном расширении идеологической платформы реставрации. Так потом и получилось. Подобная платформа была сформулирована и опубликована перед мятежом 1991 года⁵ под названием «Слово к народу»⁶.

Кстати, Бондарев, создав правдивые и талантливые книги о войне — «Горячий снег» и «Тишину», — занял впоследствии мракобесную позицию. Почему так случилось, что писатель гуманистического направления оказался в хвосте общественного развития? К сожалению, все очень просто. На съезде писателей в июне 1986 года, том самом, на котором решался вопрос о руководителе Союза писателей, столкнулось несколько мнений. Прежний глава Георгий Марков⁷ не хотел оставаться на этом посту, да и побаивался, что его заголосуют. Егор Лигачев поддерживал Маркова, хотя допускал возможность и другого варианта. Возникла фамилия Бондарева, но разговоры с писателями показали, что он тоже может не пройти. Да и я сильно сомневался в его способности стать объединяющей фигурой в коллективе единоличников — коллективе сложном, непредсказуемо изменчивом в настроениях, предельно субъективном в оценках. И очень падком на публичные признания, награды и звания.

Впрочем, эпоха повального орденопопрошательства продолжается и сегодня. Когда смотришь на нынешний парад «орденопросцев», то настроение падает до предела. Грабли те же самые. И слова благодарности «в ответ на заботу» почти те же. Никак не приходит понимание того факта, что ордена даются чаще всего не за заслуги, а за верность царю, президенту, за совпадение взглядов с властью. Орден дающий тоже доволен — может орден дать, а может и не дать. Кстати, мы пытались переломить эту давнюю традицию, показать какой-то пример. При Горбачеве никто из руководства не получил ни одного ордена. Так было решено на Политбюро.

И вообще поток награждений резко сократился.

После долгих поисков остановились на кандидатуре Карпова⁸, который в то время не примыкал ни к одной из группировок. Теперь примыкает — возносит Сталина. Он и был избран. С тех пор Бондарев затаил обиду. Кстати, у меня в библиотеке есть повесть Бондарева «Горячий снег» с его дарственной надписью и благодарностью за помощь в издании этой книги. Против ее издания выступало Главное политуправление армии и флота. Оно считало, что в «Горячем снеге» недооценивается роль старших командиров, особенно генералов, в боевых действиях. Видимо, в то время забыл Бондарев иронические строки Твардовского⁹, что «города сдают солдаты, генералы их берут». И написал в книге так, как было.

Вспоминается мне и 5-й съезд кинематографистов. Шумный, острая сшибка между «аксакалами» кинематографии и молодежью. Иногда говорили по делу, чаще сводили счеты. Но одна особенность съезда преобладала над всеми другими — это стремление

демократизировать обстановку в киноискусстве, освободиться от давления цензуры и всякого начальства. Я на том съезде представлял ЦК. Заранее договорились с Горбачевым, что выборы должны быть предельно демократичными.

— Итак, уважаемые делегаты, кого бы вы хотели избрать своим руководителем? — спросил я.

Молчание. Люди уже привыкли к тому, что имя «первого» производит ЦК. Молчание затянулось. Тогда я сказал:

— А что, если Элема Климова¹⁰? Или кого-то другого?

Я почувствовал, что в зале повисло удивление. Элема уважали. Молодой и смелый художник. Находился как бы в рядах духовной оппозиции. Предложение оказалось неожиданным. Решил помолчать, чтобы дать время подумать, преодолеть растерянность. Наконец, Ролан Быков¹¹ назвал имя Михаила Ульянова.

— Прекрасная кандидатура, — сказал я и попросил продолжить выдвижение кандидатур. Наконец люди поняли, что им предлагается действительно самим избрать себе руководителя. Встал Ульянов и отвел свою кандидатуру, сказав, что предложение о Климове является очень удачным. Элема избрали, насколько я помню, единодушно. Об этом съезде еще долго гудела общественность.

Возвращаясь снова к реакции Горбачева на не свои переживания. Геннадий Зюганов¹² публикует в «Советской России» 7 мая 1991 года статью «Архитектор у развалин», которая потом сделала ему карьеру в стане большевизма. Формально статья была обо мне, а на самом деле ее острие было нацелено на Перестройку. Михаил Сергеевич не произнес по этому поводу ни слова, видимо обидевшись, что слово «архитектор» было отнесено не к нему. Он так и не понял, что замысел этой статьи заключался еще и в том, чтобы столкнуть Горбачева со мной, что и было достигнуто.

Теперь Зюганов возглавляет компартию России, пытается перестроить ее, то есть по-мичурински вывести из огурца еловую шишку. С делом справляется хорошо, поскольку партия разваливается. Несмотря на странное молчание Горбачева, некоторые газеты критически откликнулись на статью Зюганова. Особенно резкой и развернутой была статья «Вперед-назад» Игоря Зараменского (тоже работника партаппарата), опубликованная в «Советской культуре» 3 августа 1991 года. Автор пишет, что «Г. Зюганов внес яркий вклад в кампанию «охоты за ведьмами» в КПСС. Его развязное, совершенно бездоказательное, достойное стыда и сожаления открытое письмо А. Н. Яковлеву под многозначительным названием «Архитектор у развалин» более всего подчеркнуло, насколько высока готовность консерваторов пожертвовать будущим партии ради своих целей».

Горбачев заметно тушевался перед нахрапистыми и горластыми, но в то же время понимал, кто есть кто. Мне это понятно. Я тоже теряюсь перед демагогией. Ответить хочется, но противно. Я помню один из новогодних вечеров у Горбачева на даче. Присутствовали только члены ПБ. Все было мило. Раиса Максимовна старалась создать раскованную обстановку, снять вполне понятное напряжение, особенно у жен членов Политбюро, многие были тут впервые. Оказывается, по давно заведенному порядку каждый должен был произнести тост. И сразу же потекли хвалебные всхлипы в адрес Горбачева. Одни слаще других, хотя были и сдержанные речи. Но всех превзошел Крючков. Он испек такой сладкий пирог, что на нем уместились все мыслимые и немыслимые достоинства и геркулесовы усилия Михаила Сергеевича по строительству «образцового демократического государства». Кружева плел витиевато, смотрел на всех прищуренными вороватыми глазками и нисколько не смущался. Подняв голову от стола, я наткнулся на глаза Горбачева, в которых плясала усмешка. После обеда Михаил Сергеевич подошел ко мне и сказал: «Не обращай внимания». Но прошло не так уж много времени, и подобострастие Крючкова легко перешло в крючковатый нож в спину Горбачева.

Много написано и сказано о нерешительности Горбачева — и как человека, и как лидера. Это стало как бы приговором, не подлежащим обжалованию. Я часто думал об этом, вспоминая острые ситуации и мысленно взвешивая альтернативы возможных решений. Порой действительно кажется, что в каких-то случаях можно было поступать решительнее, вести себя смелее. Михаил Сергеевич нередко медлил с принятием решений, дал запугать себя недовольством военных и силовых структур, пытался примирить непримиримое: компартию и демократию, централизованное планирование и рынок.

Но допустим, что Горбачев и в самом деле нерешителен, тогда как он мог отважиться на Перестройку и далеко идущие реформы? Может быть, не понимал, к каким последствиям могут привести перемены, с каким риском связаны попытки стронуть базальтовые стены с места, не говоря уже о военно-политических и экономических преградах еще только на пути к этим стенам? И вообще, спрашиваю себя: может ли нерешительный человек оказаться в той роли, какую начиная с 1985 года сыграл Горбачев?

Мой ответ: да, может. Более того, после десятилетий террора, а потом политического безвременья только подобный лидер и мог с наибольшей вероятностью успеха оказаться чемпионом в марфонском беге к вершине власти. Человека бескомпромиссного толка Система остановила бы еще на дальних подступах к властной

высоте. Да еще спросим себя, а не сыты ли мы начальственной решительностью? Произвол, самодурство, всевозможные патологии и откровенно криминальные наклонности, вера в насилие неизменно рязались именно в одежды так называемой принципиальности, решительности, дабы твердо противостоять «внутреннему и иноземному врагу». Именно подобная установка и породила ленинско-сталинское государство, когда насилие подавляло все доброе и честное в человеке, когда, пользуясь легковерием оболваненных простаков, «водители» целенаправленно уничтожали народы СССР — через репрессии, войны, голод.

И все же во многих случаях он напрасно боялся пересолить.

Например, он любил ссылаться на поздние статьи Ленина, считал, что они дают ключ к экономической перестройке. Но не только не ввел свободную торговлю, а подписал решение Политбюро о борьбе с нетрудовыми доходами, то есть с зачатками свободной торговли. Или другой пример. Цена на хлеб была настолько низкой, что кормить скот хлебом стало гораздо выгоднее, чем заготавливать или покупать корма. Половина купленного хлеба в городах выбрасывалась на свалки. В то же время зерно закупалось за золото в США, Канаде, Европе. В своей речи в Целинограде еще в 1985 году Горбачев согласился поставить вопрос о повышении цен на хлеб. Мы с Болдиным подготовили аргументацию, выкладки, сослались на письма людей.

Но наутро он передумал. Кто-то внушил ему, что делать этого нельзя, ибо в памяти людей останется факт, что именно он повысил цены на хлеб. Я лично видел в повышении цен на хлеб сигнал к реформе ценообразования. Нельзя же было и дальше терпеть положение, когда трактор был дешевле металла, потраченного на его производство. Вот так и шло — крупные намерения и мелкие решения шагали вместе.

Он, бесспорно, человек эмоционально одаренный, во многом артистичный. У него своеобразное обаяние, особенно во время бесед в узком кругу. Эту черту отмечали многие, и не только из лести. Умел, когда хотел, заинтересованно слушать собеседника. Способен без особых усилий поставить себя на место собеседника и даже, пожалуй, принять его точку зрения. Мог достаточно легко убеждать. Но это продолжалось лишь до тех пор, пока не появились склонность к бесконечному словоизвержению, а также глухота к советам и предложениям.

Об этой опасности говорит и то, с каким легкомыслием он отнесся к моей информации о возможности силовой авантюры со стороны большевиков. Возможно, такая невосприимчивость к моим сигналам объяснялась тем, что к этому времени Крючко-

ву, начавшему мостить дорогу к захвату власти, удалось своими доносами насторожить Горбачева в отношении меня. Наиболее смехотворной являлась сплетня, что Яковлев является «Папой» демократического заговора интеллигенции Москвы и Ленинграда против Горбачева.

Я допускаю, что Михаил Сергеевич не верил крючковскому вранью, однако мои телефонные разговоры стали прослушиваться более интенсивно. Было установлено наружное наблюдение. Моя лояльность к Михаилу Сергеевичу не имела благоразумных рамок. Величие целей ослабляло мое зрение. Что-то порой тревожило меня и то, что Горбачев — человек обидчивый. И без того газеты писали, что он лишь озвучивает то, о чем говорит ему Яковлев. Я понимаю — ему было досадно читать такое. В конце концов, он настолько обиделся, что все реже и реже стал привлекать меня к конкретной работе. Обойдусь, мол, и без тебя. Нельзя было не учитывать и другое качество его характера. Он подозрителен. У меня и моих друзей вызывало недоумение то обстоятельство, что Горбачев ни разу не оставил меня вместо себя, когда был в разъездах, ни разу не поручил вести Секретариат, ни разу не назначил официальным докладчиком на ленинских или ноябрьских собраниях. В подобных ролях побывали почти все, кроме меня, хотя я и ведал идеологией. Даже на двух всесоюзных совещаниях по общественным наукам и проблемам просвещения доклады делал Егор Лигачев. То ли Горбачев постоянно «ставил меня на место», поскольку ему внушали, что «Яковлев ведет собственную игру», то ли боялся, что я наговорю в докладах чего-то лишнего. Не знаю. Мне иногда хотелось напрямую спросить Горбачева, в чем тут дело? Но стеснялся поставить его в «неловкое положение».

Сегодня все это звучит смешно, даже вспоминать неловко, а тогда было очень неприятно. Скажу честно, в то время я каждый раз переживал, воспринимая эти решения Горбачева как недоверие ко мне. Впрочем, так оно и было. Я знал, что Болдин не один раз, когда подходило время торжественных собраний, вносил меня в список возможных докладчиков, но Горбачев, как сообщал мне тот же Болдин, всегда предпочитал других. Очень больно я воспринимал вопросы и моих друзей, и моих недругов: «Ты же учитель, а доклад по народному образованию делает инженер Лигачев». Или: «Ты же член Академии наук СССР, а доклад по общественным наукам делает снова инженер Лигачев. Что у вас там происходит?» ...

Я уже писал, что у меня с Михаилом Сергеевичем были частые и откровенные разговоры на самые разные темы. Иногда — много-

часовые и в неформальной обстановке. О положении в стране, прошлом и будущем, планах и людях, об искусстве и литературе. Мало сказать, что беседы носили доверительный характер, они были душевными, товарищескими. Скажем, во время отпусков под южным голубым небом, где-то в горах вели мы неторопливые беседы, мечтая о том, какое в будущем должно быть государство. Мирное, но сильное своим богатством, освобожденное от засилья милитаризма и экологических уродств. Мы говорили о том, что человек должен быть свободен, духовно богат, сам определять свою судьбу. Мы ходили по земле, но одновременно витали в облаках. Горячие монологи были искренними и одухотворенными романтикой, выражающей все самое возвышенное, что творилось в душе. Наши жены — Раиса Максимовна и Нина Ивановна, прогуливались обычно отдельно и старались не мешать нашим сумбурным разговорам. Они говорили о своих делах и заботах, о детях и внуках. Путаюсь в мыслях, когда вспоминаю об этих беседах в горах и на берегу Черного моря. И волнуюсь. Я верил в созидательную суть наших бесед, верил с восторгом в душе и постоянно тешил себя надеждой, что все в жизни так и будет. А когда действия моего собеседника в каких-то случаях оказывались иными, я, внутренне не соглашаясь с ними, стыдился прямо сказать об этом Горбачеву, ибо, как я думал, напоминания о доверительно сказанном могли показаться предательством нашей «черноморской раскованности».

Как правило, он замечал мою раздраженную реакцию на те или иные решения или особенно замшелые выступления других членов Политбюро. И при первом же случае старался объяснить свое молчание нежеланием ввязываться в спор по пустякам. Подобная доверительность, да и сам характер отношений в известной мере сковывали мою самостоятельность. Единственное, где я отводил душу, это в публичных выступлениях, в которых излагал свое видение Перестройки. Кстати, коллеги по ПБ не раз делали мне разные замечания, вежливые, разумеется, по поводу моих выступлений, скажем, в Перми, Душанбе, Калуге, Тбилиси, Риге, Вильнюсе и в Москве, но сам Михаил Сергеевич не сказал мне ни слова по этим выступлениям. Ни плохого, ни хорошего.

Если вернуться к общественным наукам, то уже упомянутый мною случай сильно поцарапал меня. На самом деле, без моего участия готовится всесоюзное совещание обществоведов — преподавателей институтов. Организаторы, возглавлявшие его подготовку, а это было окружение Лигачева, не сочли нужным даже посоветоваться, узнать мое мнение. Ограничились пригласительным билетом. Мне бы скандал закатить, а я снова смолчал. Поборов раздражение, я пришел на это совещание задолго до его начала

и увидел кривые улыбки тех, кто рьяно продолжал отстаивать «чистоту» марксизма-ленинизма, громял всякие посягательства на эту «чистоту». Вот видишь, не тебе поручили! Делай выводы! Смысл речей на совещании был достаточно однообразен: ревизионизм наступает, марксизм сдает позиции. ЦК потакает ревизионистам, которые повторяют враждебные песни из-за рубежа. Мне было ясно, что серьезного разговора получиться не может. Мозги у некоторых участников если и были, то давно усохли, а поэтому не оставалось ничего иного, как жевать воздух.

Посидев немного на совещании, я ушел. Бессмысленно молотить сгнившее зерно. Ни в коей мере не хочу преувеличивать свои возможности, но уверен, что, отстраняя меня от этого совещания, Горбачев упустил еще один шанс довести до огромной армии обществоведов, продолжающих влиять на сознание студенчества, концептуальное содержание Реформации. Одно из двух: или боялся, или не хотел. Еще до этого совещания я выступил в Академии наук СССР с резкой критикой догматизма, что было расценено ортодоксами как посягательство на сам марксизм. В целом выступление на этой встрече, организованное Геннадием Ягодиным¹³, министром образования, получило положительный резонанс. Хотя если посмотреть на это выступление с позиций последующих лет, то оно ничего нового из себя не представляло. Но в условиях, когда принцип развития был заменен борьбой «за чистоту», критика догматизма резала фундаменталистам уши. Подобное же раздражение я испытал и в случае с общесоюзным совещанием работников народного образования.

Но туда я просто не пошел. Когда сегодня я рассказываю друзьям о всех этих эпизодах, они обычно говорят: «Не переживай! Не поручив тебе официальных докладов, Горбачев фактически уберег тебя от банальной болтовни о Ленине и революции, от похвал разным достижениям». Это верно. Мне действительно повезло в этом плане. Но тогда все это выглядело по-другому. Да и Горбачев меньше всего заботился о моей «политической девственности». Он еще и сам не знал, в чем таковая состоит. Тогда он просто играл, наслаждался маневрированием, полагая, что играет по-крупному.

А если уж совсем начистоту, то должен признаться, что ждал от него серьезных поручений, особенно в сфере общественных наук, ибо в то время у меня накопилось немало вопросов, касающихся общественной теории, в частности по проблемам революции, о соотношении объективного и субъективного в истории, о мифологизации исторического процесса, об истоках общественных деформаций, состоянии и развитии общественных наук на Западе и много других.

Хочу, однако, повторить: несмотря ни на что, я всегда находил какие-то детские аргументы в оправдание решений Горбачева. Но, выгораживая его, я «убегал» от самого себя. С нарастанием проблем, трудностей и противоречий в ходе Перестройки, кризисных тенденций в партии, государстве и обществе, на мой взгляд, достаточно заметно обнажались и психологические проблемы самого Горбачева. Проще сказать, он, конечно, ожидал, что впереди предстоят серьезные трудности, но гнал от себя мысль, не сумел до конца поверить, что военно-промышленный и аграрный комплексы, силовые структуры, а главное, аппарат партии по своей природе не будут его сторонниками в реформах. Более того, они встанут на путь скрытого или открытого саботажа. Вот здесь-то ему явно не хватало решительности, но решительности в преодолении самого себя.

Не берусь судить о первых годах его работы в ЦК, меня тогда не было в Москве. Но уже в начале 1980-х о Горбачеве пошла молва как о будущем лидере новой формации. Молву принимали всерьез, прежде всего те, кто по разным причинам симпатизировал Горбачеву и поддерживал его; но и те, кто видел в нем конкурента. Думаю, что в быстром формировании подобных предположений немалое значение имело то необычное, что было в поведении Горбачева, в стиле его общения с людьми. Но решающую роль сыграли и те ожидания перемен, которые находили выход в мечте о новом лидере, который мог бы повести страну в XXI век. Однако подавать сигналы из-за спины первого лица (а ими были в то время Андропов и Черненко) — одно дело, придя же к власти, лидер перестает быть «подающим надежды», который знает нечто особенное, недоступное другим.

В марте 1985 года Михаил Сергеевич был пересажен из класса «Легенда» в класс «Лидер». Тем самым миф обрел живую форму, переселился в простого смертного, на которого история возложила тяжелейшую из тяжелейших миссий. И здесь его подстерегали самые серьезные опасности. По должности он поднялся почти до небес, дальше некуда. Это создавало иллюзию всемогущества, но только иллюзию. На самом деле все обстояло далеко не так. Горбачев оказался в окружении людей гораздо старше его, опытнее в закулисных играх и способных в любой момент сговориться и отодвинуть его в сторону, как это произошло, например, с Хрущевым.

Конечно, возможности руководителя партии и государства, особенно такого, каким был СССР, чрезвычайно велики. Но в то же время власть лидера жестко канонизирована: он лидер до тех пор, пока отвечает интересам наиболее могущественных в данное время элит и кланов. Как только эти интересы всерьез задеваются, власть

руководителя, какими бы рангами и достоинствами он ни обладал, может резко и болезненно сузиться, упасть до нуля или привести к падению самого лидера. Горбачев, я думаю, отдавал себе отчет, что демократические реформы требуют смены политической и хозяйственной элиты. Не раз говорил об этом. Но освободиться от нее волевым путем он практически не мог. Политбюро на это не пошло бы, да и действующая когорта власти могла взбунтоваться на очередном пленуме ЦК. А опереться на людей, стоящих вне номенклатуры, он побоялся.

Сегодня многие задаются вопросом: почему Горбачева до сих пор встречают за рубежом тепло и с уважением, а вот у себя в стране продолжают критиковать за все постигшие людей тяготы, к которым он не имел никакого отношения или имел весьма отдаленное. Все это надо искать в том, что Горбачев тяжело наступил на интересы аппарата партии, силовых структур, хозяйственной мафии, военно-промышленного комплекса — номенклатуры в целом. Наступил, но не довел дело до конца в кадровом отношении. Вот они и отомстили ему, бросив огромные человеческие и финансовые возможности для его дискредитации. Он их как бы пожалел, а они его — в колодезь.

Горбачев неплохо начал, если не считать решений по борьбе с пьянством и борьбе с нетрудовыми доходами. Основательный политический идеализм (в хорошем смысле этого слова), помноженный на его непривычную тогда открытость, на понимание необходимости перемен, помог придать Перестройке мощный стартовый заряд. В весьма специфической обстановке личные качества Горбачева, такие, как умение играть на полутонах, стараться до последнего сохранить открытыми как можно больше вариантов решений, — все это объективно работало на Перестройку, на поиск путей и средств обновления. Именно так я оценивал обстановку первых 2–2,5 лет. Ее специфику я тоже видел в спасительных компромиссах, учитывая психологию номенклатуры.

Она знала, что в партии и стране всегда что-то реорганизовывается. Принимаются решения о совершенствовании тех или иных направлений работы: идеологической и организаторской, системы управления, работы с кадрами и т. д., но никогда, скажем, районные власти толком не понимали, чего от них хотят. Как начало очередной кампании они встретили и Перестройку. Пошумят наверху, заменят вывески, может быть, и новых руководителей поставят, а дальше жизнь пойдет своим чередом. Надо только переждать очередную суету, привычную толкотню в маленьких и больших коридорах власти. Постепенно начала складываться прелюбопытная ситуация.

Режим в основном сохранялся вроде бы прежний, особенно по внешним признакам и рутинным процедурам. Но грубые командные приемы руководства начали чахнуть. Страна замитинговала, ожили газеты, телевидение, радио. Общественное и личное сознание светлело на ветрах замелькавшей свободы. И с этим было очень трудно что-то поделать, даже тем, кто был накрепко прикован к системе диктатуры, верил в неприступность власти. Новая обстановка находила отражение и в работе Политбюро ЦК. Члены Политбюро, секретари ЦК могли, если они того хотели, проявлять самостоятельность, не оглядываясь на возможные упрёки. Подобная атмосфера позволяла решать многие важнейшие вопросы явочным порядком, никого, в сущности, не спрашивая. Более того, в интересах дела и не надо было спрашивать. Прежде всего это коснулось идеологии, информации, культуры. Именно здесь и произошли кардинальные изменения.

Но не в экономике, за которую отвечали Николай Рыжков, Егор Лигачев, Виктор Никонов, Юрий Маслюков¹⁴ и другие. Обратите внимание, читатель: и тогда, и теперь критикуют за Перестройку только идеологов, в основном меня и конечно же Горбачева. Причина весьма немудрящая. Идеология была стальным обручем системы, все остальное старательно плясало под музыку идеологических частушек. К тому же люди, отвечавшие за экономический блок, и не хотели серьезных экономических перемен. И сегодня старые и новые номенклатурщики, объединившись в законодательных органах, насоздавали столько нелепых и противоречивых законов и инструкций, что России долго придется выбираться из помойной ямы бюрократизма. Когда на ногах еще гири, трудно вылезать из болота. А гири отменные, чугунные, многопудовые, отлитые коллективными усилиями аппарата партии и государства. Вот тут, повторяю, и возникают всякого рода «трудные вопросы».

Возможно, мы, реформаторы первой волны, были недостаточно радикальны. Например, не сумели настоять, чтобы многопартийность превратилась в нормальную практику политической жизни. Не смогли сразу же узаконить свободу торговли и конечно же отдать землю фермерам или реальным кооператорам, запретив такую форму хозяйствования, как колхозы. Не сумели начать переход к частному жилью и негосударственной системе пенсионного обеспечения. Оказались не в состоянии решительно встать на путь последовательной демилитаризации и дебольшевиизации страны. Но все это верно в идеале, в сфере незамутненной мечты. А в жизни? На самом деле, как можно было в то время упразднить колхозы без соответствующей законодательной базы? А кто ее мог создать? Крестьянский союз Стародубцева? И глав-

ное! Что стали бы делать колхозники? Самочинно делить землю? Получилось бы второе издание ленинского «Декрета о земле». Интересы — вещь реальная. Номенклатурные фундаменталисты не могли оказаться в одном лагере с Перестройкой. Рассчитывать на то, чтобы наладить с ними нормальные рабочие отношения, умиротворить, ублажить, успокоить, умаслить, было, мягко говоря, заблуждением, поскольку за этой когортой стояли интересы власти, которую они терять не хотели.

Михаил Сергеевич пропустил исторический шанс переломить ход событий именно в 1988–1989 годах. Страна еще была оккупирована большевизмом, а действия демократии против него оставались партизанскими, огонь был хаотичным, малоприцельным, одним словом, предельно щадящим.

Требовалась гражданская армия Реформации. Демократически организованная часть общества, особенно интеллигенция, еще продолжала видеть в Горбачеве лидера общественного обновления, еще связывала с ним свои надежды. Но ответа не дождалась, ибо все руководящие номенклатурщики оставались на своих местах. В результате сработало правило любых верхушечных поворотов: сама власть, испугавшись крутого подъема, начала суетиться, нервничать, метаться по сторонам в поисках опоры, дабы не свалиться в политическое ущелье.

И когда я утверждаю, что с осени 1990 года власть катастрофически быстро уходила из рук Горбачева, то начало этому откату положили события 1988–1989 годов, когда реакция, по выражению ее лидеров, «выползла из окопов», огляделась и, видя, что Горбачев растерян, начала атаку по всей линии дырявой обороны Перестройки, состоящей неизвестно из кого, из каких-то странных и разрозненных отрядов добровольцев. Я уверен: Горбачев не один раз раскладывал политический пасьянс, пытаясь определить, куда деться королю?

Но так и не решился сделать ставку на складывающуюся демократию снизу, пусть еще бестолковую, крикливую, но устремленную на преобразования и настроенную антибольшевистски. Не обратился за поддержкой сам и не поддержал тех, кто просил у него такой поддержки. Вместо этого он в 1988–1990 годах усилил в своих выступлениях патерналистский, назидательный тон в отношении «подданных», не замечая, что подобный тон начинает отталкивать здоровую часть общества и от него лично, и от политики, с которой он связал свою судьбу. Я утверждаю: в это время Михаилу Сергеевичу явно отказала способность к социальной фантазии. Политическое чутье притомилось, а притомившись, притупилось. Так получилось, что к концу 1990 года Горбачев

уже ни при каких обстоятельствах — даже откажись он публично от Перестройки и даже выступив с покаянием по этому поводу — не был бы принят в стан реставраторов, там уже формировалась жгучая к нему неприязнь.

Но на этом рубеже, как мне кажется, у него еще оставалась возможность связать свое будущее, будущее страны с ясно обозначенной демократической альтернативой. Ему надо было пойти на всеобщие президентские выборы, помочь организации двух-трех демократических партий и покинуть большевистский корабль. Парадокс: Горбачев знал истинную цену многим окружавшим его людям по партии и внутрипартийному фундаментализму.

Она была копеечной. Но людям из демократической среды — новым, неизвестным, иными тогда они и быть не могли, — он доверял еще меньше, чем «проверенным» ортодоксам. О его вибрирующей позиции говорят многие факты. Некоторые мои друзья из межрегиональщики просили меня приходить на их собрания, не требуя никаких обязательств. Они имели в виду установить через меня рабочий контакт с Горбачевым, надеясь, что об их заседаниях и решениях будет докладывать не КГБ, а близкий Горбачеву человек. Там было много достойных фигур: Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Гавриил Попов, Анатолий Собчак. Кстати, можно представить себе ситуацию, если бы эти представители демократического крыла были бы в начале 1990 года включены в Президентский совет. Многое бы пошло по-другому, чем случилось.

Горбачев, когда я проинформировал его о ситуации, не разрешил мне посещать собрания межрегиональной депутатской группы. Информационные доклады КГБ о работе МДГ были полны неприязни, запугиваний и ярлыков. Как-то Горбачев спросил меня с раздражением: что там, межрегиональщики затевают какой-то новый скандал? Что они, сдурели? Я спросил друзей, что случилось? Оказалось, ничего. Когда я сказал об этом Горбачеву, он отмахнулся, пробурчав: «Знаю, знаю». Он успел переговорить с Собчаком. А взъерошился, прочитав донос КГБ. Еще одна маленькая, но существенная деталь. Демократы из разных организаций, прежде всего из «Мемориала», привезли с Соловецких островов камень, чтобы положить его на Лубянской площади в память о зверствах сталинских репрессий. Пригласили меня на церемонию. Но Горбачев распорядился: «Нет! Пошли туда Юрия Осипьяна¹⁵ — члена Президентского совета». Ох уж эти мелочи — дьявольские игрушки.

Горбачева постоянно пробовали на зуб, испытывая его прочность как руководителя. Наверное, многие помнят выступление в парламенте генерала Макашова¹⁶, когда он с присущей ему

наглостью советовал Верховному Главнокомандующему пройти хотя бы краткосрочные курсы военного дела. Все ждали реакции Горбачева, но ее так и не последовало. Хотя она была очень нужна в то время. Я говорил об этом с Михаилом Сергеевичем. Он при мне звонил министру обороны Язову. Тот обещал внести кадровое предложение о Макашове в течение трех дней. Речь шла об отправке его во Вьетнам. Но все быстро затихло. И что же? Впоследствии Макашов бегал около мэрии с пистолетом, матерщиной призывал людей к восстанию, а затем заседал в парламенте по списку КПРФ, громил Перестройку, разоблачал Горбачева и поносил евреев. Я уже писал о том, при каких обстоятельствах главный редактор «Советской России», газеты компартии, Валентин Чикин¹⁷ напечатал статью Нины Андреевой против Перестройки. И что же? Чикин теперь — член парламента, продолжает редактировать одну из самых реакционных газет, а Михаил Сергеевич продолжает получать оплеухи от этой газеты.

Заместитель Михаила Сергеевича по Совету обороны Бакланов вместе с редактором газеты «День» (ныне газеты «Завтра») Прохановым¹⁸ публично и злобно критиковали политику разоружения, практически отвергая даже саму возможность соглашений с США о сокращении ядерных и обычных вооружений, одобренную Политбюро. Михаил Сергеевич опять промолчал.

Я думаю, в России еще не забыли нашумевшее «Слово к народу», явившееся, по сути, идеологической программой августовских мятежников. Оно было опубликовано в той же «Советской России» 23 июля 1991 года. Письмо предельно демагогическое, представляет из себя набор злобных пассажей. По форме «Слово» — достаточно пошрое сочинение, но точно рассчитанное на возбуждение инстинктов толпы.

«Очнемся, опомнимся, встанем и стар, и млад за страну. Скажем “Нет!” губителям и захватчикам. Положим предел нашему отступлению на последнем рубеже сопротивления. Мы начинаем всенародное движение, призывая в наши ряды тех, кто распознал страшную напасть, случившуюся со страной».

Коротка память во злобе у зовущих на баррикады. Уже забыто в горячке, что за такое «Слово» еще недавно авторов расстреляли бы к утру следующего дня. А они жалуются, что их «отлучают от прошлого». Какого прошлого? Расстрельного? Лагерного? Письмо подписали: Юрий Бондарев, Юрий Блохин, Валентин Варенников, Эдуард Володин, Борис Громов¹⁹, Геннадий Зюганов, Людмила Зыкина²⁰, Вячеслав Клыков, Александр Проханов, Валентин Распутин, Василий Стародубцев, Александр Тизяков.

Надлежащей реакции президента страны не последовало. Как будто все это звучало не призывом к насилию и погромам, а было шуточным номером на капустнике. Те, кто теперь обвиняет Горбачева в авантюризме, связанном с Перестройкой, ошибаются: чего-чего, а авантюризма в его характере не было ни грана. Это хорошо. Но, как это ни странно, человек, стоявший у начала исторического и личного риска, был совершенно не расположен рисковать в вопросах, куда менее сложных. Свалить дуб, то есть диктатуру, решился, а вот сучки обрубить испугался. Боязнь чего-то худшего даже тогда, когда для этого не было достаточно серьезных оснований, лишь усиливали у него постоянное стремление к перестраховке, желание «потянуть» с действиями и решениями, не раздражать лишний раз тех, от кого, как ему казалось, зависело сохранение порядка.

Характерный пример. Во время мартовского (1991) противостояния, когда демонстранты, требовавшие продолжения реформ, оказались лицом к лицу с солдатами, Горбачев волновался, как никогда, «сидел» на телефоне, собирая информацию²¹. Мне он звонил в этот день несколько раз, невзирая на возникшую (по его инициативе) прохладу в отношениях. Я чувствовал его растерянность. Во время одного из таких звонков он сказал: поступила информация, что демократы готовят захват Кремля и что для этого где-то изготавливаются крючья с веревками (ох уж эти крючковские штучки!).

Можно было принять это за дурной розыгрыш, но Михаил Сергеевич был серьезен. Он попросил меня позвонить мэру Москвы Попову и сказать ему об этой информации. Попов рассмеялся: «Что там, у этих информаторов крыша поехала? Хоть бы адресок дали, где крючки делают, да и с веревками у нас дефицит». Я сообщил об этой реакции Горбачеву, а еще добавил, что лично боюсь прямого столкновения армейских подразделений с мирными демонстрантами. Кто-то может выстрелить и спровоцировать бойню.

— Этот кто-то и будет отвечать, — сказал Михаил Сергеевич.

— Согласен, но как потом хоронить будем? Вся Москва выйдет на улицы. И понятно, с какими лозунгами.

Михаил Сергеевич некоторое время молчал, а затем сказал:

«Я сейчас позвоню Язову и Крючкову, напомним, что они несут личную ответственность, если это противостояние окажется трагическим». Думаю, что это предупреждение все-таки сорвало запланированную провокацию.

Или взять вильнюсские события января 1991 года. О них я узнал из выступления Егора Яковлева в Доме кино, где отмечался юбилей «Московских новостей». Информация ошеломила людей.

На другой день утром ко мне в кабинет в Кремле пришли Вадим Бакатин, Евгений Примаков, Виталий Игнатенко с вечным русским вопросом — что делать? Настроение было препоганое. Долго судили-рядили, пытаюсь поточнее оценить ситуацию, найти выход из положения. Нервничали.

Наконец, коллегия «заговорщиков» поручила мне пойти к Михаилу Сергеевичу и предложить ему вылететь в Вильнюс, дать острую оценку случившемуся и создать независимую комиссию по расследованию этой авантюры.

Горбачев выслушал меня, поразмышлял и... согласился, добавив, что вылетит завтра утром. Попросил связаться с литовским лидером Ландсбергисом²² и спросить его мнение. Я позвонил в Вильнюс, Ландсбергис поддержал идею. Договорились о том, где Горбачев будет выступать. За подготовку речей взялся Игнатенко. Он был в то время пресс-секретарем Горбачева. Однако утром ничего не произошло. Мы снова собрались в том же составе. Идти к Горбачеву я отказался. Попросили Игнатенко взять эту миссию на себя, найти какой-то повод для встречи. С нетерпением ждали его возвращения. Он вернулся с понурой головой и сообщил, что поездки не будет и пресс-конференции в Москве тоже не будет. Крючков уговорил Горбачева не ехать, заявив, что не может обеспечить безопасность президента в Вильнюсе. Само собой разумеется, что Крючков «не мог гарантировать», он-то лучше других знал, что на самом деле произошло и кто организовал эту провокацию.

Мы поохали-поахали и разошлись. Я от расстройства уехал в больницу, а перед этим дал интервью, в котором сказал, что случившееся в Вильнюсе — не только трагедия Литвы, но и всей страны. Добавил, что не верю в местное происхождение стрельбы. С тех пор и попал под особенно тяжелую лапу КГБ. В конце концов, Крючкову удалось отодвинуть меня от Горбачева. В откровенно наглom плане все началось с Вильнюса, до этого малость стеснялись. Авантюра в Литве провалилась, Крючков струхнул, он понимал, что Горбачев мог организовать настоящее расследование. Вот когда надо было с треском снять Крючкова и Язова с работы.

Это было бы реальное сотворение истории. Горбачев на это не пошел, что и вдохновило всю эту свору на подготовку августовского мятежа.

Вскоре мне в больницу позвонил Примаков и сказал, что Михаил Сергеевич наконец-то принял решение о проведении пресс-конференции по Вильнюсу и просит меня приехать на нее, если смогу. Это было в двадцатых числах января. Евгений Максимович добавил, что он лично советует приехать, Горбачев выглядит растерянным и чувствует себя совершенно одиноким. Я поехал.

Содержание выступления было нормальным, но, как говорят, дорого яичко ко Христову дню. Слова Горбачева не убедили собравшихся, ибо запоздали. Общественное мнение было уже сформировано. Президент оказался в серьезном проигрыше. Так всегда бывает на крутых поворотах истории, когда поведению лидера недостает определенности. Михаил Сергеевич так и не смог понять, что ситуация после Вильнюса резко изменилась. Она требовала решительных действий по многим, если не по всем, направлениям. События за окнами Кремля понеслись вскачь, а в действиях высшего эшелона власти не произошло принципиальных изменений. Появилась возможность пойти вперед широким шагом, а вместо этого — топтание на месте. Перестройка уперлась в бетонную стену партгосаппарата и силовых структур.

Разрушение этой стены Горбачев все время откладывал, дождавшись того, что КГБ и его высокопоставленная агентура в партии пошли на мятеж и устранили Горбачева от власти.

В новой ситуации только кардинальные решения с открытой опорой на демократические силы могли спасти положение. Вместо этого Горбачев, будучи в Белоруссии, обрушился на демократов, повторив ярлык политических зубодеров: «так называемые демократы». Я до сих пор не знаю, кто готовил ему эту речь. Своим выступлением в Минске он проделал большую дырку в шляпке Перестройки.

И тут все чаще и сильнее стали заявлять о себе иные, не лучшие черты характера Михаила Сергеевича. Прежде всего, отсутствие у него бойцовских качеств. Они ему особенно требовались в период с сентября 1990 года и до декабря 1991 года, когда, в сущности, решалась дальнейшая судьба страны. Так случилось, что после Вильнюса начался заметный откат наиболее талантливой интеллигенции от Горбачева. На смену, кривляясь и подхалимничая, потянулась всякая шелупонь, которая сейчас, что вполне логично, находится среди тех, кто вешает на Горбачева все мыслимые и немыслимые преступления.

Вот так и бывает: ряженые друзья — первые предатели. Но не только политическая качка, но и экономическая неопределенность «пожирала» судьбу главы государства. Речь шла о необходимости вбить последние гвозди в гроб «социалистической» системы через экономику конкурентного типа. Именно она задевала реальные интересы правящей элиты, разделила верхний эшелон власти на сторонников и противников Перестройки. При чем противников оказалось значительно больше.

К слову сказать, интересная это порода твердолобых большевиков, эшелонами приходивших к власти после регулярно расстре-

ливаемых Сталиным начальников. Малограмотная политически, тупая теоретически, познавшая «справедливость» социализма только через привилегии и личное властное самодурство, абсолютно беспринципная, она так и не учуяла хотя бы носом, куда дует ветер времени. Как же идет их трансформация сегодня? Феодално-социалистические фундаменталисты, как и раньше, надеются на возврат «светлого вчерашнего», но в то же время строят себе особняки, скупают, используя старые номенклатурные связи, недвижимость, воруют сильнее прежнего, только не властвуют открыто, но именно последнее вызывает у них злобный зуд ненависти. Как-то, будучи в Риме на научной конференции, я высказал опасение в связи с возможностью возвращения большевиков не только к корыту водки с хлебом, но и к власти.

— Этого не будет, — сказал мне один из иностранных участников семинара.

— Почему?

— Да потому, что почти все дети руководителей КПРФ и родственников с ней организаций втянуты в бизнес по самые уши, а западные спецслужбы помогают им, исходя из того, что сыновей отцы свергать не станут. Да и сами могильщики России активно вползли в предпринимательство.

Новое окружение Горбачева на правительственном уровне активно стимулировало его метания, неуверенность, что позволяло противникам реформ, тормозить преобразования, шаг за шагом дискредитировать самого президента. Могу ошибиться, но, по моим наблюдениям, новая ситуация изматывала Горбачева эмоционально, истощала психологически, лишая его былой энергии, душевного подъема. Для такого впечатлительного человека, как Горбачев, это имело серьезные, возможно, непоправимые последствия.

Наиболее тяжелые из них проявились, я так думаю, еще до Вильнюса и мартовского противостояния, еще до апреля 1991 года, когда на пленуме ЦК «стая претендентов в небожители» попыталась сбросить Горбачева с поста Генерального секретаря. Я не пошел на этот пленум. Противно было выслушивать в очередной раз одни и те же причитания, одни и те же кликушеские всхлипы. О готовящемся внутрипартийном заговоре мне рассказали по телефону с места событий Андрей Грачев и Аркадий Вольский. Сообщили также, что сами они собираются сделать специальное заявление. Так и поступили. «Заявление 72-х» временно отрезвило особо рьяных сталинистов, убоявшихся раскола, который был в партии зловещим пугалом.

После XXVIII съезда Горбачев решил на то, чтобы создать специальную программу развития экономики в переходный

период. По соглашению Горбачев — Рыжков, с одной стороны, и Ельцин — Силаев — с другой, была создана рабочая группа во главе с Шаталиным, Явлинским и Петраковым. У меня с ними были самые добрые отношения, я читал даже промежуточные варианты их предложений. Несмотря на соглашение, Рыжков создал свою группу во главе с Леонидом Абалкиным²³, который, будучи порядочным человеком, попал в этой связи в очень неловкое положение.

Когда Михаил Сергеевич получил программу Шаталина — Явлинского — Петракова «500 дней», он позвонил мне и сказал, что пришлет этот документ (у меня он уже был).

И добавил, что программа читается как фантастический роман. Чувствовалось, что он воодушевлен и снова обретает рабочее состояние. Наутро снова позвонил и спросил: «Ну как?» Я сказал все, что думаю, сделав упор на том, что вижу в этой программе реальную возможность выхода из экономического кризиса. Особенно мне понравилась идея экономического союза. Для меня было ясно, что организация экономических связей на рыночных принципах неизбежно и позитивно скажется и на политических проблемах.

Но прошло совсем немного времени, и Горбачев потускнел, стал мрачно-задумчивым. На вопросы, что произошло, отмалчивался. Но все быстро прояснилось. Программа не получила поддержки в Совете Министров. Рыжков упорно отстаивал свой вариант, грозил отставкой. Один из таких разговоров происходил в моем присутствии. Михаил Сергеевич был растерян и расстроен. На Президентском совете программу «500 дней» также подвергли критике. Лукьянов шумел, что республики, заключив экономический союз, откажутся от союза политического. Против программы высказались Рыжков, Крючков, Маслюков и еще кто-то. На съезде голосами большевиков программу завалили. Была создана согласительная рабочая группа во главе с Абе́лом Аганбе́гяном²⁴, которая, конечно, ничего не смогла согласовать, поскольку многие позиции двух проектов были просто несовместимыми.

Я лично убежден, что Горбачев сломался именно осенью 1990 года. Он заметался, лихорадочно искал выход, но суматоха, как известно, рождает только ошибки. Кто-то за одну ночь сочинил ему достаточно беспомощную программу действий. В результате фактически померла горбачевская президентская власть, которую тут же стали прибирать к рукам лидеры союзных республик.

Оставшееся время до мятежа было временем безвластия, политической паники и укрепления необольшевизма. Для меня было особенно заметно, как заговорщики вздернули подбородки, начали свысока взирать, а не смотреть, цедить слова, а не говорить.

Подхалимаж перед Горбачевым сменился подчеркнутым к нему равнодушием. Резко изменилось отношение и ко мне. В глазах этих придурков светился восторг от предвкушения реванша, но Горбачев как бы не замечал изменений в поведении высших бюрократов, собратьев по власти и руководителей силовых структур. Не замечал, вероятно, потому, что оказался в полном одиночестве, разогнав Президентский совет. Очутился во власти каких-то невероятных мистификаций, в окружении мрачных теней, подлых гровщиков Перестройки.

Вот так вершилась история.

В любой стране должность № 1 делает человека одиноким. В такой относительно стабильной стране, как США, на тему человеческого одиночества обитателей Белого дома написаны горы исследований. Что же тогда говорить о советской системе, фактически обрекавшей лидера страны на комфортабельную, но одиночную камеру в Кремле. Однако даже по этим меркам Горбачев под конец его пребывания у власти оказался уникально одиноким человеком. Его вниманием завладели люди вроде Крюкова с целенаправленно катастрофической идеологией. Горбачева пугали крахом задуманного и невозможностью преодолеть проблемы на путях демократии, шаг за шагом подталкивали Горбачева к мысли о неизбежности введения чрезвычайного положения и перехода к «просвещенной диктатуре».

Будущим «вождям» мятежа нужна была атмосфера постоянной тревоги, навязчивого беспокойства, всевозможных социальных и политических фобий, которые бы поражали волю, поощряли разброд в делах и мыслях. Одно из последствий такого положения при нараставшем одиночестве Горбачева — политическом и человеческом — заключается, как мне кажется, в том, что на протяжении 1990–1991 годов он уже не мог оставаться достаточно надолго один для того, чтобы просто собраться, успокоиться, навести порядок в собственных мыслях, восстановить душевное равновесие.

Апокалипсические сценарии, которыми его снабжали в изобилии, попадали на почву повышенной эмоциональности и тем самым создавали основу для новых, все более тревожных восприятий. Долгое пребывание в таком состоянии ни для кого не может пройти бесследно, особенно если такое состояние формируется в условиях шумных спектаклей (как справа, так и слева) на тему о крушении Перестройки, тех масштабных жизненных замыслов и ожиданий, которыми Михаил Сергеевич дорожил. Простить себе и другим такое крушение (действительное или мнимое — другой разговор) невозможно. Появляются искусственные обиды, которые затуманивают чувства и разум. Коснусь еще одного вопроса.

Горбачев большие надежды возлагал на парламент, ожидая, что этот инструмент демократии будет его активным помощником в преобразованиях. Мне тоже представлялось, что так оно и случится. Ошиблись.

К сожалению, избрание депутатов оказалось в руках партийной номенклатуры на местах, которая была в массе своей не на стороне реформ. В результате на съездах верх стали брать горлопаны, демагоги из большевиков или люди, которые аккуратно и молча голосовали в соответствии с указаниями своих местных партийных вождей. Сложилось, как метко заметил Юрий Афанасьев, «агрессивно-послушное большинство», которое тормозило решение почти всех прогрессивных начинаний, возникавших на съездах и в дальнейшей практической работе уже при Ельцине.

Я уже писал, что Михаил Сергеевич плохо разбирался в людях. Но полагаю, что он еще хуже разбирался в самом себе. По моим наблюдениям, он или вообще не пытался, или не смог в то острейшее время проанализировать собственное состояние — психологическое и деловое, — не задумывался над тем, как оно могло влиять на восприятие им важнейших политических событий, тенденций, явлений. Во всяком случае, в публичной его реакции, да и в той, которую наблюдали люди, непосредственно его окружавшие в период 1989–1991 годов, все заметнее становился нараставший отрыв от реальностей.

Все чаще спонтанные эмоции вытесняли спокойный политический расчет. Все чаще основаниями для политических и практических акций становились иллюзии, основанные на целевых доносах, а не на строгом анализе. Да и в советах он перестал нуждаться.

Однажды на Президентском совете некоторые его члены не согласились с предложением Михаила Сергеевича по какому-то мелкому вопросу. Он раскраснелся и бросил фразу:

«Кто здесь президент? Вы всего лишь консультанты, не забывают об этом!»

Это было крайней бестактностью. Да и по существу неверно. Зачем ему нужно было подобное вознесение над другими, понять невозможно. Получилось так, что где-то с осени 1990 года ему пришлось катать штанги на политическом помосте практически в одиночку. И те из противников Горбачева, которые внимательно следили за его эволюцией, увидели, что ноги у лидера стали подгибаться. В конечном счете, он был предан своим ближайшим окружением, которое посадило его под домашний арест, намекнув устами Янаева, что у президента то ли с рассудком неладит, то ли он радикулитом мается.

Как ни странно, но в том, что тогда дело обстояло именно таким образом, меня больше всего убедили годы, когда Михаил

Сергеевич, уже будучи частным лицом, так и не нашел ни сил, ни мужества, чтобы критически осмыслить пережитое, особенно на заключительном этапе пребывания у власти.

Все его слова и дела после декабря 1991 года свидетельствуют о том, что он мучительно защищает себя, все время оправдывается, пытается «сохранить лицо». Он пытается играть Горбачева, а не быть им. Это типичнейшая реакция неосознанной защиты своего «Я» (как говорят психологи, своей «Я-концепции»), лишенная спокойного самоанализа. Позиция по-человечески понятная и вызывающая сочувствие, но и сожаление.

Я посмотрел его мемуары и с горечью обнаружил, что он еще не вышел из того психологического тупика, в который сам себя загнал, обидевшись на весь свет. Свои сегодняшние настроения и оценки он переносит на события и размышления прошлых лет, практически игнорируя тот факт, что события тех «серебряных лет» были куда интереснее, глубже и значимее сегодняшних. Удивляет избирательность в оценках. Она касается всего — событий, людей, позиций и многого другого.

И снова возвращаюсь к тому, с чего начал. К вопросу, в какой степени ход и исход мартовско-апрельской демократической революции можно — и в хорошем, и в плохом — объяснить через личность ее лидера? Вопрос этот из категории неразрешимых. На любом месте человек вносит в свое дело самого себя, свои особенности, достоинства и недостатки, свой характер. Но в одиночку не пересилить конкретные общественные, социально-экономические твердыни. Тем более что советская система отвергала даже малейшие попытки изменить ее в сторону здравого смысла.

Можно ли было вести реформы как-то иначе? Теоретически, наверное, да. Можно ли было не начинать и не вести их вообще? Конечно, но румынский, да и югославский опыт перед глазами. Могли ли какие-то личные качества лидера смягчить удары, свалившиеся на страну, именно в этот переходный период? В конкретных условиях того времени — как объективного, так и субъективного характера — могли, но в незначительной степени.

Дело-то все в том, что Михаилу Сергеевичу не надо оправдываться. И снова в голову лезут всякие несуразности. Меня поразило, каким вернулся Михаил Сергеевич после форосского заточения. Пережить ему и всем членам его семьи в те страшные дни августа 1991 года пришлось конечно же много. И держались они достойно. Но после Фороса Горбачев повел себя странно. Вместо конкретных, быстрых и решительных действий он продолжал лелеять свой «Союзный договор», который к тому времени «почил в бозе». Поезд ушел. А Михаил Сергеевич погнался за ним,

как бы не заметив, что история побежала совсем в другую сторону. Местные лидеры безмерно радовались, став руководителями независимых государств. Как сказал мне один из будущих президентов республик, ставших независимыми, лучше быть головой у мухи, чем задницей у слона.

Возможно, кому-то покажется, что я слишком критично оцениваю некоторые действия или факты бездействия Михаила Сергеевича. Это не так. Я пишу о своей глубокой боли, которая исходит из многих несбывшихся надежд, что является общей бедой. Что же касается критики Горбачева или его «вины», то, повторяю, она может быть справедливой только при полном и честном признании того, что Михаил Сергеевич возглавил деяние, которое относится к крупнейшим в истории российского государства.

Так уж случилось, что я оказался свидетелем не только начала, но и конца вершинной карьеры Михаила Горбачева. Волею судьбы я присутствовал на встрече Горбачева и Ельцина в декабре 1991 года, на которой происходила передача власти. Не знаю до сих пор, почему они пригласили меня. Я был третьим. Беседа продолжалась более восьми часов. Была деловой, взаимоуважительной. Порой спорили, но без раздражения. Я очень пожалел, что они раньше не начали сотрудничать на таком уровне взаимопонимания. Думаю, сильно мешали «шептуны» с обеих сторон. Горбачев передал Ельцину разные секретные бумаги. Ельцин подписал распоряжение о создании Фонда Горбачева. Далее обсудили обстановку, связанную с прекращением производства бактериологического оружия. Горбачев утверждал, что все решения на этот счет приняты, а Ельцин говорил, что ученые из каких-то лабораторий в Свердловской области продолжают «что-то химичить». По просьбе Михаила Сергеевича Ельцин распорядился продать дачи по сходной цене Силаеву, Бирюковой²⁵, Шахназарову, еще кому-то. Борис Николаевич и мне предложил, но я отказался, о чем жалею до сих пор.

Когда Горбачев отлучился (вся процедура была в его кабинете), я сказал Борису Николаевичу, что его подстерегает опасность повторить ошибку Горбачева, когда околорезидентское информационное поле захватил КГБ. Он согласился с этим и сказал, что намерен создать до 5–6 каналов информации. Как потом оказалось, из этого, как и при Михаиле Сергеевиче, ничего не вышло. Борис Николаевич спросил меня, зачем я иду работать с Горбачевым. «Он же не один раз предавал вас, — заметил Ельцин. — Как будто нет других дел и возможностей». Слова звучали как приглашение работать вместе. Я даже догадался, о чем идет речь. Ответил, что мне просто жаль Горбачева. Не приведи Господи оказаться в его

положении. В это время я еще не знал, что мины, заложенные Крючковым (подслушивание телефонных разговоров, обвинения в моих связях со спецслужбами Запада), взорвутся и разведут наши судьбы на годы.

Ельцин упрекнул меня за то, что я публично, на съезде Движения демократических реформ, критиковал Беловежские соглашения. Я объяснил ему свою точку зрения и на этот счет, сказав, что решение в Беловежье является нелегитимны и торопливым. Был и еще занятый момент. За день-два до этой встречи мне кто-то шепнул, что Ельцин собирается освободить Примакова от работы во внешней разведке и поставить туда «своего» человека. Называли даже фамилию нового начальника. Я прямо спросил об этом Ельцина.

Он ответил, что, по его сведениям, Примаков склонен к выпивке.

— Не больше, чем другие, — сказал я. — По крайней мере, за последние тридцать лет я ни разу не видел его пьяным.

Может быть, вам съездить в Ясенево и самому ознакомиться с обстановкой.

Борис Николаевич посмотрел на меня несколько подозрительно и ничего не ответил. Позднее мне стало известно, что Ельцин встретился с коллективом внешней разведки. Примаков остался на своем посту, более того, позднее был назначен министром иностранных дел и премьером правительства.

Еще до этой встречи Ельцин дал понять, что не хочет сотрудничать с Виталием Игнатенко в качестве генерального директора ТАСС. Горбачев пытался отговорить его, но разговор по телефону достиг бурных, если не сказать, крикливых высот. Горбачев в сердцах сунул телефонную трубку мне, сказав: «Вот Яковлев хочет поговорить с тобой». Трубка оказалась у меня. Я сказал Ельцину, что Игнатенко заслуживает доверия, честен и профессионален. Поговорили еще минут пять. Ельцин постепенно утихал. Наконец, сказал:

— Ну хорошо, проверим, — ответил Ельцин.

Беседа втроем закончилась, пошли обедать. Вот тут Михаил Сергеевич начал сдавать, выпил пару рюмок и сказал, что чувствует себя неважно. И ушел — теперь уже в чужую комнату отдыха. Мы с Борисом Николаевичем посидели еще с часок, выпили, поговорили по душам. В порыве чувств он сказал мне, что издаст специальный указ о моем положении и материальном обеспечении, учитывая, как он выразился, мои особые заслуги перед демократическим движением. Я поблагодарил. Он, кстати, забыл о своем обещании. Я вышел вместе с ним в длинный коридор Кремля, смотрел, как он твердо, словно на плацу, шагает по паркету.

Шел победитель.

Вернулся к Горбачеву. Он лежал на кушетке, в глазах стояли слезы. «Вот видишь, Саш, вот так», — говорил человек, может быть, в самые тяжкие минуты своей жизни, как бы жалуясь на судьбу и в то же время стесняясь своей слабости.

Ничего, казалось бы, не значащие слова, но звучали как откровение, покаяние, бессильный крик души. Точно по Тютчеву: «И жизнь, как подстреленная птица, подняться хочет, а не может».

Как мог, утешал его. Да и у меня сжималось горло. Мне до слез было жаль его. Душило чувство, что свершилось нечто несправедливое. Человек, еще вчера царь кардинальных перемен в мире и в своей стране, вершитель судеб миллиардов людей на Земле, сегодня бессильная жертва очередного каприза истории. Он попросил воды. Затем захотел остаться один.

Так закончились «серебряные годы» Реформации. Без всяких колебаний утверждаю, что Михаил Сергеевич искренне хотел самого доброго для своей страны, но не сумел довести до конца задуманное, а главное, понять, что если уж поднял меч на такого монстра, как Система, то надо идти до конца. Но для этого требовалось преодоление не только идеологии и практики тоталитарного строя, но и самого себя, и не останавливаться на половине дороги.

Конечно, был возможен и другой ход событий, но связанный с силовым вариантом. Однако политический выбор Горбачева был иным — он был эволюционистом. В частных разговорах с Горбачевым мы даже близко не подходили к обсуждению вариантов силового плана. Мятежники августа 1991 года использовали насилие в антиперестроечных целях, что и привело к разрушению Советского Союза и хаосу на постсоветском пространстве. Лично я уверен, что силовой вариант в целях защиты Перестройки не смог бы привести к созидательным последствиям. Вот почему считаю, что в декабре 1991 года Михаил Сергеевич совершил достойный поступок. Он фактически сам отказался от власти, отбросил все другие возможные варианты. Не знаю, что здесь сработало: осознанное решение или же предельная человеческая усталость. В сущности, учитывая сложившуюся ситуацию, Горбачев мог просто уехать домой, объявив, что он продолжает считать себя Президентом СССР, пока не будет иного решения Съезда народных депутатов, который избрал его президентом. Ядерная кнопка оставалась с ним. Он передаст ее только вновь избранному Президенту СССР, если он, Горбачев, будет законно отстранен от власти. Сложилась бы весьма выигрышная позиция, поскольку он бы не настаивал на сохранении именно своей власти, а просто требовал законных процедур.

Так могло быть! И можно представить себе ситуацию, которая сложилась бы в стране. Можно представить и положение правительств иностранных государств.

Горбачев ушел в историю. Хотелось ему ввести Россию в цивилизованное стойло, да больно брыкастая она, дуrolомная, ломает и вершинных людей через колено. Ему выпало испытание: подняться на самую верхотуру и стремительно скатиться вниз; волею судеб оказаться у руля в тот момент, когда накопленные противоречия подошли к критической точке; положить начало тенденциям, окончательное суждение о которых придется выносить потомкам; познать сладость всемирной славы, но и горечь отвержения у себя на родине.

Тяжелейший удел, которому не позавидуешь. Воистину, место в Истории стоит дорого, очень дорого. Остается добавить, что в моих размышлениях о Михаиле Сергеевиче, о его замыслах и действиях, конечно, много субъективного. Но я хотел разобраться не только в том, что мы делали вместе, переживали вместе, но и в самом себе, в своих реальных убеждениях и романтических иллюзиях, в своих надеждах и заблуждениях. Не хочу быть ни обвинителем, ни адвокатом ни Горбачева, ни себя. Я просто рассказал, что было, а вернее, что знаю. Иногда с гордостью, а порой и с горечью. Но главным в моей жизни остаются не сомнения, обиды или неудовлетворенности в великой страде за свободу, а то, что мы, участники мартовско-апрельской революции, пусть и спотыкаясь, шли к этой свободе, не задумываясь над тем, чем она закончится для нас — славой или проклятиями.

